

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Франкл

Обретая смысл. Воспоминания

Начало. Как я научился помогать людям	7
Психолог в концлагере. Об Освенциме и коллективной вине	42
Возвращение в Вену	57

В. Франкл

Мне страшно. Как рождаются неврозы
и как им противостоять?

Предисловие	67
Что такое логотерапия?	67
Глава 1. Эндогенные психозы. Человек и психоз	102
Глава 2. Психосоматические заболевания	113
Глава 3. Функциональные заболевания. Самотогенные психоневрозы	127
Глава 4. Реактивные неврозы	138
Глава 5. Ятрогенные неврозы	164
Глава 6. Психогенные неврозы	169
Глава 7. Ноогенные неврозы	177
Глава 8. Коллективные неврозы	180
Глава 9. Логотерапия и экзистенциальный анализ	187
Заключение	244

О. Бумке, П. Шильдер

Современное учение о неврозах

Глава 1. О современных течениях в клинической психиатрии	248
Глава 2. Эмиль Крепелин	264

Глава 3. Пятьдесят лет психиатрии	270
Глава 4. Пересмотр проблемы неврозов	280
Глава 6. Проверка учения о неврозах	294
Глава 7. Подразделение неврозов	307
Глава 8. Психические причины неврозов	308
Глава 9. Физические условия неврозов	310
Глава 10. Психические механизмы и структура неврозов .	312
Глава 11. Объем невротического и физическая сторона невротического механизма	314
Глава 12. Терапия	315
Глава 13. О психическом воздействии на больных	316
Примечания	341

В. Франкл

ОБРЕТАЯ СМЫСЛ. ВОСПОМИНАНИЯ¹

Начало. Как я научился помогать людям

Родители

Моя мать происходила из патрицианского, давно осевшего в Праге рода: немецкий поэт, пражанин Оскар Винер², чей образ Мейринк³ увековечил в «Големе», приходился ей дядей. Я видел, как Оскар, давно уже лишившийся зрения, умирал в лагере Терезиенштадт. Следует уточнить, что моя мать вела свой род от Раши⁴, который жил в XII веке, а также от «Махарая»⁵, прославленного пражского рабби Лева. А стало быть, и я происхожу в двенадцатом поколении от «Махарая». Все это обозначено на генеалогическом древе, на которое я однажды имел возможность бросить взгляд.

А на свет я чуть было не появился в знаменитом венском кафе «Зиллер». Именно там мою мать настигли первые схватки прекрасным весенним воскресным днем 26 марта 1903 года. Мой день рождения совпал с днем смерти Бетховена, и это позволило некоему однокласснику ехидно заметить: «Беда не приходит одна».

Моя мать была добрейший, сердечнейший человек — не знаю, отчего я оказался надоедливым и капризным ребенком, как мне потом частенько напоминали. Малышом я мог уснуть, лишь когда она пела мне в качестве колыбельной «Куда пропали все цветы?» — причем в слова я не вслушивался. Мать рассказывала, что пела ее так: «Уснешь ли ты, меня замучил ты — куда пропали все цветы?» Мне требовалась только мелодия.

К родительскому дому я чувствовал столь сильную привязанность, что ужасно страдал от ностальгии в первые недели, месяцы, а потом и годы, когда мне приходилось оставаться на ночь в различных больницах, куда я получал назначение. Поначалу я непременно старался переночевать у родителей раз в неделю, потом раз в месяц и, наконец, хотя бы на свой день рождения.

После того как отец умер в Терезиенштадте и мы с матерью остались одни, я взял за правило всякий раз, здороваясь с

ней и прощаясь, целовать ее: в любой момент могла наступить разлука, и я хотел быть уверен, что простились мы хорошо.

И когда дело дошло до того, что меня с первой моей женой Тилли повезли в Освенцим и мы с матерью расстались, я в последнюю минуту попросил ее благословения. Никогда не забуду, как она с воплем, исходившим из самой глубины души — страстным, отчаянным воплем, — ответила мне: «Да, да, я тебя благословляю», — и дала мне благословение. Оставалась неделя до того, как ее в свой черед транспортировали в Освенцим и там сразу же умертвили газом.

В лагере я постоянно думал о матери и когда пытался вообразить себе нашу встречу, мне представлялось, словно что-то неопровержимое, будто единственным уместным жестом будет, как это красиво описывается, пасть на колени и поцеловать подол ее платья.

Мать, как я уже говорил, была доброй и сердечной, а характер моего отца составлял крайнюю ей противоположность. Отец отличался спартанским отношением к жизни и таким же понятием о своем долге. У него имелись принципы, и он всегда был им верен. И я такой же перфекционист, так им и воспитан. Меня и старшего брата отец принуждал в пятницу вечером читать молитву на древнееврейском, и если мы, что с нами частенько случалось, допускали хоть одну ошибку, то наказания за это не полагалось, однако не причиталось и награды. Награда следовала нам лишь в случае, если мы читали весь текст с начала до конца без единой погрешности. Премия в десять геллеров — но удавалось это однажды или дважды в год.

Характер моего отца можно было бы назвать не только спартанским, но даже стоическим, если бы не периодические вспышки необузданного гнева. В одном из таких приступов он сломал, избивая меня, то ли трость, то ли альпеншток. Тем не менее я всегда видел в нем образец справедливого человека, и он внушал всем нам чувство полной защищенности.

В общем и целом я удался больше в отца, но те черты, которые я, по-видимому, унаследовал от матери, вступили в структуру моего характера в противоречие с тем, что мне досталось от отца. Однажды меня обследовал специалист из психиатрической клиники при Университете Инсбрука. Предложив мне тест Роршаха, он затем сказал, что ни с чем подобным за всю свою практику не сталкивался: столь сильное противоречие между крайней рациональностью, с одной стороны, и столь глубокой эмоциональностью — с другой. Первое я, очевидно, получил от отца, второе от матери — так я предполагаю.

Мой отец был родом из Южной Моравии, которая в ту пору входила в состав Австро-Венгрии. Сын неимущего переплетчика голодал все годы учебы на медицинском факультете и, получив диплом, вынужден был сдать экзамен и ради заработка поступить на государственную должность. В итоге он дослужился до директора департамента по министерству социального попечения. Прежде чем господин директор скончался в лагере Терезиенштадт от голода, как-то видели, как он пытается нашарить в пустой бочке остатки картофельной шелухи. Поскольку нас из концентрационного лагеря Терезиенштадт перевели сперва в Освенцим, а затем в Кауферинг, где мы чудовищно голодали, я вполне понимаю отца: там и я однажды отодрал от земли жалкий очисток картошки — ногтями.

Некоторое время отец исполнял должность личного секретаря при министре Йозефе-Марии фон Бернрайтере⁶. Министр в ту пору писал книгу о реформе исправительных заведений и о личном опыте в этой области, который он приобрел во время поездки в Америку. Он пригласил отца (тот десять лет проработал стенографистом в парламенте) в свое имение или замок в Богемии и там надиктовывал ему рукопись. Однажды министр заметил, что мой отец постоянно отказывается от приглашения к столу, и спросил его о причинах отказа — отец пояснил, что ест только кошерное. Наша семья вплоть до Первой мировой войны действительно соблюдала кашрут. Тогда министр распорядился дважды в день посылать экипаж в близлежащий городок и доставлять оттуда кошерную пищу, чтобы его секретарь не жил только на бутербродах с сыром.

Начальник отдела в министерстве, где служил в ту пору отец, поручил ему вести протокол какого-то заседания, но отец отказался, поскольку на тот день выпал главный еврейский праздник, Йом-Киппур. В этот день положено соблюдать пост от звезды до звезды и молиться, а работать, разумеется, нельзя. Начальник отдела угрожал дисциплинарным взысканием, однако мой отец категорически отказался нарушать религиозный обычай и действительно подвергся наказанию.

В целом отец был человеком верующим, хотя и не лишенным критической жилки. Немногого ему недоставало, чтобы сделаться первым иудеем-либералом в Австрии и представителем того течения, которое чуть позднее в США получило название «реформистский иудаизм». И если выше я сократил разговор о принципах отца, то здесь я кое-что добавлю о его стоицизме: когда мы шагали с вокзала Богушовице в лагерь Терезиенштадт, он сложил уцелевшие пожитки в большую шляпную коробку и закинул поклажу себе за спину. Вокруг

многие паниковали, он же разок-другой сказал: «Гляди веселей, Господь не оставит своих детей». Это он говорил с улыбкой. Вот, пожалуй, и все об унаследованном мной от родителей характере.

Что же касается предков по отцовской линии, они, вероятно, происходили из Эльзас-Лотарингии. Когда Наполеон в одном из походов захватил родной город моего отца в Южной Моравии (на полпути между Веной и Брно), один из расквартированных в городе гренадеров стал расспрашивать, не проживает ли здесь такая-то семья, и нашлась девочка с этим именем. Гренадер поселился в ее семье и сообщил, что прежде размещался в Эльзас-Лотарингии и тамошние хозяева просили его разыскать их родичей и передать им привет. Наши предки переселились примерно в 1760 году.

Среди контрабанды, которую мне удалось протащить в Терезиенштадт, была и ампула морфия. Эту дозу я ввел отцу, когда глазами врача увидел, что развивается терминальная отек легких, то есть ему предстоит заведомо проигранный предсмертная борьба за каждый глоток воздуха. Отцу исполнился 81 год, он долго недоедал, и все же, чтобы прикончить его, понадобилась повторная пневмония.

Я спросил его:

— Ничего не болит?

— Нет.

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Нет.

— Что-нибудь сказать напоследок?

— Нет.

Тогда я поцеловал его и ушел. Я знал, что живым больше его не увижу, но дивное чувство охватило меня: я исполнил свой долг. Из-за родителей я остался в Вене, а теперь проводил отца в последний путь, избавив его от бессмысленных мучений.

Мать оплакивала его, и в это время ее навестил чешский раввин Ферда, хорошо знавший моего отца. Я присутствовал при разговоре: Ферда, утешая вдову, сказал ей, что покойный был цадиком, то есть праведником. Значит, я не ошибался в детстве, считая главным свойством его характера справедливость, но его чувство справедливости проистекало из глубокой веры в божью справедливость. Иначе он бы не выбрал в качестве девиза те слова, которые я так часто слышал из уст: «Да будет воля Его».

Детство

Вернемся к исходному пункту, к моему появлению на свет. Я родился в доме 6 по Чернингассе, и, если не ошибаюсь, как-то раз отец говорил, что напротив, чуть наискось, долгое время жил доктор Альфред Адлер, основатель индивидуальной психологии. Итак, место рождения третьей Венской школы психотерапии, логотерапии, оказалось поблизости от второй, индивидуальной психологии Адлера.

А если пройти немного по другой стороне того же квартала, по Пратерштрассе, то вот он — дом, где был положен на музыку неофициальный гимн Австрийской империи, вальс «Голубой Дунай» — самим Иоганном Штраусом.

Итак, логотерапия родилась в том же доме, где и я. Но книги я писал уже на квартире, где так и живу после возвращения в Вену. В моем кабинете имеется полукруглый эркер, где я в муках рожаю свои книги, и по аналогии с родильной палатой я обозвал его «родильной полупалатой».

Вероятно, отец был доволен, когда я уже в три года принял решение стать врачом. Самой романтичной в пору моего детства считалась профессия юнги или офицера, но я легко объединял этот идеал с мечтой о медицине, воображая себя то военным, то судовым эскулапом. Однако исследовательская работа с ранних пор сделалась для меня привлекательнее, чем практика. Я и сейчас вижу картину, как в возрасте четырех лет растолковываю маме: «Я понял, мама, как люди изобрели всякие лекарства: велели, чтобы те, кто тяжело заболел и хочет умереть, собрались, и им стали давать попробовать все подряд — и ваксу, и керосин. И если они после этого оставались живы, то вот и правильное лекарство от болезни». А критики ставят мне в упрек, что я слишком мало места отвожу эксперименту!

Тогда же, в четыре года, я однажды вечером незадолго до сна перепугался, потрясенный мыслью, что когда-нибудь и мне предстоит умереть. Но к творчеству меня всю жизнь побуждал отнюдь не страх смерти, а вот какой вопрос: не уничтожается ли быстротечностью жизни сам ее смысл. Ответ же на этот вопрос, ответ, полученный в результате нелегкой борьбы: во многих отношениях именно смерть и придает жизни смысл. И, прежде всего, преходящее бытие отнюдь не лишено смысла уже по той простой причине, что в прошлом ничто не теряется безвозвратно, а напротив, вовеки сохранно. Преходящее не может затронуть прошедшее: прошедшее уже спасено. Все, что мы сделали, что сотворили, что узна-

ли и пережили, все скрывается в прошлом, и никто не в силах истребить это.

Мальчишкой я горевал оттого, что в Первую мировую войну не удалось осуществить два заветных желания: я бы хотел сделаться скаутом, а еще мечтал о велосипеде. Зато сбылось то, о чем я и подумать не осмеливался: среди многих сотен парней, гулявших в городском парке и принимавших участие в тамошних забавах, именно я смог «завалить» признанного силача, причем не как-нибудь, а «захватом шеи сверху».

Смолоду мне очень хотелось написать небольшую историю. Сюжет был задуман такой: некий человек повсюду лихорадочно разыскивает потерянный блокнот. Наконец блокнот ему возвращают, однако добросовестный нашедший просит объяснить, что означают забавные краткие записи в нем. Выясняется, что это пометки о «приватных праздниках» владельца блокнота — дни, когда ему особенно повезло в жизни. Например, под 9 июля запись «вокзал в Брно». Что это значит? Много лет назад в этот день родители на минуту оставили двухлетнего малыша без присмотра, и тот сполз с платформы на рельсы и устроился прямо под колесом поезда. Лишь когда прозвучал сигнал к отправлению и родители оглянулись, они поняли, что произошло. Отец успел подхватить сына с рельс в тот самый миг, когда поезд тронулся. Вот повезло так повезло! Благодарение Богу за чудесное спасение — ведь тем ребенком был я!

Чувство безопасности в детские годы проистекало, разумеется, не из философских размышлений или внушений: его дарила мне сама обстановка, в которой я рос. Мне было, наверное, пять лет (это детское воспоминание я считаю образцовым); я проснулся солнечным утром на даче в Хайнфельде, охваченный невыразимым чувством счастья, блаженства — открыл глаза и увидел над собой улыбку отца.

Еще пара слов о сексуальном развитии. Я был еще мал, когда вместе со старшим братом во время семейного пикника в Венском лесу наткнулся на пакет с карточками — с откровенной порнографией. Мы оба не удивились и не возмутились. Мы даже не поняли, почему мама так поспешно вырвала у нас из рук эти снимки.

Позднее — когда мне было лет восемь — все относящееся к сексу окуталось дымкой тайны. Инициатива исходила от нашей служанки, бойкой и глупой: она взялась просвещать нас с братом и вместе, и поодиночке: разрешала раздевать ее ниже пояса догола и играть с ее гениталиями. Например, она укладывалась на пол, прикинувшись, будто крепко спит, и таким

образом поощряла нашу мальчишескую возню, а затем всякий раз строго-настрого запрещала рассказывать родителям — это, мол, тайна только для нас троих.

Годами, стоило мне что-то натворить — не по этой сексуальной части — и эта служанка повергала меня в дрожь, грозя пальцем и приговаривая: «Вики, веди себя хорошо, не то выдам маме секрет». Этих слов было достаточно, чтобы держать меня в безоговорочном подчинении, пока однажды я не подслушал, как мама ее спросила: «Да что за секрет-то?» — и та ответила: «Да ничего особенного, он стащил мармелад». И не зря она опасалась, как бы я сам не проболтался, — ее тревога имела под собой основания.

Я вполне отчетливо помню день, когда сказал отцу: «Правда же, папа, я тебе не говорил, что Мария вчера ездила со мной кататься на карусели?» Таким образом я думал доказать свою надежность! Нетрудно себе представить, как в один прекрасный день я бы спросил: «Правда же, папа, я тебе не говорил, что вчера я забавлялся с гениталиями Марии?»

Достаточно скоро мне сделалась ясна взаимосвязь между сексом и браком — задолго до того, как я осознал связь между сексом и деторождением. Кажется, в одном из первых классов средней ступени я уже задумался о том, как бы мне, женившись, избавиться от привычки засыпать по ночам или хотя бы научиться засыпать не так быстро, ведь я же пропущу самое лучшее, то, что называют «спать с женщиной». «Неужели взрослые настолько глупы, — размышлял я, — что они в это время спят, упуская такое наслаждение? Уж я-то буду вкушать его, бодрствуя», — обещал я себе.

В другом загородном доме, в Поттенштайне, воспитательница подружилась с моими родителями и потому часто общалась с нами, детьми. Меня она прозвала «мыслителем» — вероятно, потому, что я беспрерывно задавал ей вопросы. Я все время хотел что-то узнать. Однако спрашивал я не потому, что был такой уж великий мыслитель, — я бы предпочел быть не великим, но последовательным-до-конца-мыслителем.

Не знаю, можно ли назвать одну мою привычку философской — во всяком случае, то было самопознание в лучших сократических традициях: в юные годы я завтракал (точнее, пил кофе) в постели, а затем еще несколько минут тихо лежал и размышлял о смысле жизни и, в особенности, о содержании наступающего дня — вернее, о том, какой смысл он имеет *для меня*.

И тут вспоминается событие уже из поры заключения в лагерь Терезиенштадт: некий пражский доцент вздумал про-

верить IQ нескольких своих коллег, и мой интеллектуальный коэффициент оказался существенно выше среднего. В ту пору меня это сильно удручило, ибо я говорил себе: кто-то другой мог бы с таким умом чего-то добиться, а у меня уже нет шансов с пользой применить свой интеллект, ведь я так и умру в лагере.

И раз уж мы заговорили об интеллекте: меня всегда веселило, если кто-то озвучивал идею, которая прежде уже приходила мне в голову. Веселило, а не огорчало, потому что я рассуждал так: этому человеку пришлось помучиться, писать, готовить публикацию, а я-то безо всякого лишнего беспокойства знаю, что уже сделал точно такое открытие, как то, которым прославился тот или другой специалист. Я бы не огорчился даже, если бы за мои идеи кто-нибудь получил Нобелевскую премию.

Разум...

Будучи перфекционистом, я предъявляю завышенные требования прежде всего к себе самому. Это, разумеется, вовсе не означает, что я всегда соответствую своим требованиям, но когда мне это удастся, именно этим объясняются мои успехи, насколько у меня таковые были. И если меня спрашивают, как я сумел чего-то в жизни добиться, я неизменно отвечаю: «Дело в том, что я соблюдаю принцип: любые мелочи исполнять столь же тщательно, как и самое великое дело, и самое великое дело — с тем же спокойствием, что и самое незначительное». То есть когда я собираюсь подать во время дискуссии всего одну-две реплики, я продумываю их заранее и готовлю конспект. И когда предстоит выступать с лекцией перед тысячами слушателей, я тоже готовлюсь заранее и составляю конспект, и все это — столь же выдержанно, как собираюсь сделать несколько замечаний на семинаре в присутствии десятка знакомых.

И еще одно: я делаю все не к крайнему сроку, но по возможности заранее, и тем самым предотвращаю двойное напряжение — когда у меня и так много работы, чтобы помимо бесчисленных дел на меня не давил еще и страх не успеть. И третий принцип: не только стараться сделать все заранее, но еще и начинать с самого неприятного, то есть поскорее от него избавляться. Разумеется, не всегда удается следовать своим же принципам и правилам. В молодости, работая врачом в неврологической больнице в замке Марии-Терезии и в психиатрической клинике на Штайнхофе, я проводил воскресные

нье в варьете. Мне это очень нравилось, однако оставался неприятный осадок, ведь в выходной следовало бы сидеть дома, записывать свои мысли и готовить статьи.

После концлагеря все изменилось. С тех пор в выходные я диктовал свои книги! Я научился экономить время. Да, я стал расходовать его очень скупно — но лишь потому, что хочу потратить время на осмысленные занятия.

И все же должен признаться: и до лагеря, и после я изменял порой своим правилам. Разумеется, потом я страшно сердился на самого себя, так сердился, что порой по нескольку дней сам с собой не желал разговаривать.

...И чувство

Выше я определил себя как рационалиста, то есть человека разума, но при этом оговаривался, что и чувство не чуждо мне.

В пору Второй мировой войны, еще прежде, чем я угодил в лагерь, пока шла кампания по эвтаназии душевнобольных, мне приснился трогательный сон. Он был порожден глубоким состраданием к пациентам: мне снилось, будто обреченные на эвтаназию собираются перед газовой камерой, и я, поразмыслив немного, добровольно к ним присоединяюсь. Здесь просматривается параллель с подвигом знаменитого польского педиатра Януша Корчака, который добровольно вошел вместе с подопечными сиротами в газовую камеру. Но он сделал это, а мне только снилось.

Могу лишь сказать, что я всем сердцем понимаю поступок Корчака. Я уже дал понять, что знаю за собой не так уж много добрых качеств, и одно из них — быть может, единственное — заключается в умении помнить сделанное мне добро, забывая дурное.

Какие желания были у меня в жизни? Помнится, студентом мне хотелось иметь больше, чем было у меня тогда: собственную машину, дом, стать приват-доцентом. Машиной мне с тех пор удалось обзавестись, отдельным домом — нет (зато я купил дом нашей дочери, то есть ее семье). Приват-доцентом я тоже стал, и даже экстраординарным профессором⁷.

Чего еще я хотел бы? Могу ответить со всей определенностью: я бы хотел совершить восхождение на непокоренную вершину. Однажды меня приглашал в такую экспедицию мой товарищ-альпинист Рудольф Райф. Но тогда я не мог от-

лучиться из Штайнхофа. По-моему, это три самых волнующих переживания, какие только могут случиться в жизни человека: первое восхождение на гору, игра в казино и операция на мозге!

Как видите, больших неприятностей мне в целом удается избежать — вероятно, благодаря освоенному искусству жить. И настоятельно советую всем поступать так, как я возвел себе в принцип: если случается что-то плохое, я падаю на колени (лишь в своем воображении, конечно же) и молюсь, чтобы и впредь не случилось *ничего хуже*.

Ведь существует иерархия не только хорошего, но и плохого, о чем и следует вспоминать в подобных случаях. В лагере Терезиен на стене клозета прочел я однажды изречение: «Не думай про любую ерунду и радуйся всякому дерьму». Итак, нужно уметь видеть также позитивную сторону, особенно это полезно тому, кто желает овладеть искусством жить.

И речь не только о том, что, возможно, уготовано нам в будущем (как в той молитве, которую я привел только что), но и о том, чего мы благополучно избежали в прошлом. Каждый пусть будет благодарен за любое прежнее счастье и отмечает «личные праздники», подобно моему герою, потерявшему драгоценный блокнот.

Кстати, я подумывал написать и другой рассказ — мне тогда было лет 13 или 14. Сюжет этой истории был таков: некий человек изобрел лекарство, которое делало каждого, кто его примет, невероятно умным. Фармацевтика тут же вцепилась в это открытие, и все принялись разыскивать изобретателя, но не могли его найти, потому что он сразу же принял это средство и так поумнел, что удалился в глухой лес и предался там созерцанию собственного пупа — ну или, во всяком случае, укрылся от людей. Словом, он стал мудрецом и отказался от коммерческого использования своего открытия. Рассказ я так и не написал, но зато сочинил два стихотворения, которые мне удалось запомнить — было мне тогда, наверное, 15 лет. Вот первое:

Мне две звезды явились
во сне:
о жизни — сон, кружились
во мне;
вот счастье, им бы слиться —
в одно.
Но может только сниться
оно.

И вот — гляжу — из дали
зажглись,
одной звездой стали,
слились.

А второе стихотворение представляло собой цитату из «Веданты»⁸ — я решил поделиться с людьми индийской мистикой и метафизикой. Вот оно:

Оковы скинул мой дух: с трудом,
Но времени-пространства покинул дом,
И — длился в вечности сном бесконечным,
И — в бесконечности дождем шел вечным,
На дне Всего, Началом всех Начал —
Единым мира, все обнявшим, стал⁹.

Но есть свои преимущества не только в духовности, а в более прозаическом присутствии духа. Например, во время экзамена по патологии профессор Мареш спросил меня о причинах, вызывающих язву желудка. В ответ я процитировал известную теорию, которую хорошо помнил по конспекту. Он возразил на это:

— Хорошо, однако существуют другие гипотезы — известны ли они вам?

— Разумеется, — ответил я и тут же развил другую теорию.

— Кому принадлежит эта версия? — пожелал узнать экзаменатор.

Я принялся экать и мекать, покуда он не пришел мне на помощь, назвав весьма известную фамилию.

— Конечно, конечно! — подхватил я. — Как это у меня из головы вылетело?

На самом деле я сам изобрел эту теорию прямо на экзамене и никогда прежде ничего о ней не слышал.

Остроумие

Остроумные замечания порой сводятся к игре слов. Рудольф Райф, знаменитый альпинист, с которым я неоднократно ходил в одной связке, перед Второй мировой войной возглавлял клуб альпинистов «Донауланд». Когда мы отправлялись в очередную экспедицию, он постоянно называл меня, психиатра, «доктором из дурдома». Я в ту пору работал в психиатрической клинике «Штайнхоф». И вот он упорно именовал меня не «доктором», а «доктором из дурдома», пока у меня

не лопнуло терпение и я не сказал ему в присутствии всех членов клуба: «Берегитесь, господин Райф: еще раз назовете меня доктором из дурдома, и знаете, как я буду к вам обращаться? Штайнхофрайф».

Как я уже говорил, его фамилия — Райф, то есть «зрелый», а про сумасшедших в городе так и говорили, что они «созрели для дурдома», «штайнхофрайф». С тех пор Райф научился называть меня просто «доктором».

Разумеется, словесная игра порождает и новые слова, неологизмы. Вскоре после Второй мировой войны меня пригласили в некий довольно амбициозный литературный кружок, где все читали свои новые произведения. Мой кузен Лео Кортен, ныне покойный, работал на Би-би-си в Лондоне, и вот, прислушиваясь к этим текстам, он шепнул мне: «Кафка» — то есть все это эпигоны Кафки, пытающиеся воспроизвести его стиль. Я шепнул в ответ: «Да, но Нескафка».

В 1961 году я читал лекции в Гарварде. Было жарко, и дверь в аудиторию оставили приоткрытой. Вдруг зашел уличный пес, прогулялся между рядами и вышел. Все следили за ним глазами, в том числе и я. Настолько растерялись, что не могли собраться с мыслями, но я первый нашелся и пошутил: «А это явление я бы отнес к разряду доготерапии» — до того момента мы, само собой, обсуждали логотерапию.

Трудно поверить, однако и в концлагере порой случалось отмачивать шутки или выдумывать смешные новые слова. В Терезиенштадте меня поселили в казарме в одной комнате с полудюжиной других врачей, а попасть к нам можно было только через смежное помещение. И вот иду я в темноте, но в тот момент, когда открываю дверь, свет проникает в проходную комнату, и я вижу, что застал врасплох своего коллегу, пражского рентгенолога, — в постели с подружкой.

— Ах, простите, коллега, — говорю я ему. — Я вас *перебудил*?

Потом он мне врезал — по-моему, несправедливо, ведь нет особого оскорбления в том, чтобы сказать, что человек «переспал» со своей приятельницей.

Некоторые неологизмы кажутся мне вполне удачными. Например, пока я не обзавелся собственной машиной, я всегда приговаривал: «Я езжу не на автомобиле, а на гетеромобиле — то есть не своей, а на чужой, с тем, кто меня прихватит».

Иногда удается сострить, и не сочиняя новое слово, — например, когда мне предложили подлить чаю, а я ответил: «Я не чаю больше чаю».

Естественно, порой в словесной игре бывает задействовано не отдельное слово, а целая цепочка. Знакомый поведал мне, что он перешел в католичество из протеста против Гитлера и национал-социализма и даже стал священником, но потом осознал, что Католическая церковь — такой же тоталитарный институт, как и национал-социализм. А надо сказать, что он изначально не был христианином и крестился непосредственно перед тем, как приступил к богословским занятиям. Вот я и ответил ему с большим сочувствием: «Да, крест крюко-креста не слаще».

Остроумные замечания облегчают выступление докладчику, а в дискуссии после доклада затрудняют положение оппонента. На докладе, открывавшем «Штирийскую осень»¹⁰, я хотел дать понять, что вправе рассуждать не только на медицинские, но и на философские темы, и подчеркнуть то обстоятельство, что наряду со степенью доктора медицины имею и степень по философии. И я сказал:

— Дамы и господа, хотя я закончил аспирантуру не только по медицине, но и по философии, обычно я об этом не упоминаю, ведь я знаю разлюбезных моих венских коллег: они не скажут, что Франкл — доктор вдвойне, они скажут, что он лишь наполовину врач.

А в качестве примера дискуссий расскажу такой случай: я прочел лекцию в Мюнхене, в Академии изящных искусств, и после этого на меня напал — даже набросился — молодой человек:

— Господин Франкл, вы тут рассуждаете о сексуальности, но разве профессор, который целый день торчит на семинарах да читает лекции, способен на естественный здоровый секс? Вы хотя бы представление о нем имеете?

— Знаете, любезный, — отвечал я, — ваш стиль полемики напоминает мне одного венского остряка: узнав, что у пекаря десять детей, он его спросил: «А когда ж вы печь растапливаете?»

Публика засмеялась, и я продолжал:

— Вот и вы: неужто вы сомневаетесь, что человек, который день напролет выполняет свои обязанности в университете, ночью может вести нормальную половую жизнь?

Так я завоевал аудиторию.

В другой раз, тоже в разгар дискуссии, вышло так, что я не оппонента хотел смутить, но сам избежать неловкости. В университетском кампусе небольшого американского городка мне после доклада на богословском факультете задали вопрос, как я понимаю концепцию «Бога над Богом», то есть «Бога по

ту сторону Бога», сформулированную знаменитым теологом Паулем Тиллихом¹¹. Я понятия не имел об этой концепции и вывернулся, ответив: «If I answer your question regarding „The God above the God“ this would imply that I consider myself a Tillich above the Tillich», то есть: «Если б я дерзнул ответить на ваш вопрос о Боге над Богом, то попытался бы выдать себя за Тиллиха над Тиллихом».

От словесной игры недалеко и до загадок. Однажды мне удалось сочинить загадку, которая даже попала в газету, да еще и в форме «шарады». Звучит она так: «В союзе со мной вышел титул мужской». Поньше эту загадку сумели разгадать только двое: «Илия». Союз (я слегка затемнил, сказав «в союзе») — «или» + «я» (нельзя же сказать «с я», вот и выходит «со мной»). И получается мужское имя, «титул».

Я не только сочиняю остроты, но и с удовольствием их изучаю. Долгое время я даже носился с мыслью написать книгу о метафизике остроумия, о метафизическом его источнике. Самый любимый мой анекдот — о человеке, который приехал в польский городок с большой долей еврейского населения и надумал посетить бордель. Ему казалось неловким так прямо спрашивать адрес борделя, и потому он обратился к старому еврею в лапсердаке с вопросом:

— Где тут живет раввин?

— Там, в зеленом доме.

— Как! — с деланным ужасом переспросил стремившийся в бордель приезжий. — Неужели прославленный учитель обитает в доме порока?

А еврей ему:

— Что вы говорите! Бордель — там, в стороне, красный дом который.

— Большое спасибо! — поблагодарил искатель борделя и устремился по названному адресу.

Не так ли следует и врачу строить разговор с пациентом? Еще в начале медицинской практики я убедился, что, собирая анамнез, ни в коем случае нельзя спрашивать женщину, делала ли она когда-нибудь аборт, а надо сразу: «Сколько абортотв делали?»

И мужчину бессмысленно спрашивать, болел ли он сифилисом, но «сколько курсов лечения мышьяком» он прошел.

И шизофреника не спрашивайте, слышит ли он голоса, но о чем они говорят.

Насмешливое отношение к психосоматической медицине как к шарлатанству отлично передает следующий анекдот: мужчина решил обратиться к психоаналитику в связи с посто-

янной головной болью, приливами крови к голове и шумом в ушах. Дорога к врачу лежит мимо магазина мужской одежды, и пациент подумал: не мешало бы купить новую рубашку. Заходит, выбирает.

— Размер воротника? — уточняет продавщица.

— Сорок два, — отвечает покупатель.

— Поверьте моему опыту: вам нужен 43-й.

— Не ваше дело: давайте 42-й!

— Пожалуйста, сами виноваты, если у вас разболится голова, бросится кровь в голову и зашумит в ушах.

И насчет лечения психических заболеваний лекарствами тоже имеется неплохой анекдот. В железнодорожном вагоне сидят друг напротив друга эсэсовец и еврей. Еврей достает селедку, разделяет ее и ест, но голову отделяет и снова заворачивает.

— Почему вы так сделали? — допытывается эсэсовец.

— В голове мозг, его я везу детям: съедят его и поумнеют.

— Не продадите ли мне селедочную голову?

— Если хотите.

— Сколько она стоит?

— Марку.

— Вот вам марка! — эсэсовец тут же съедает селедочную голову.

Через пять минут он орет:

— Грязный жид, селедка целиком стоит 10 пфеннингов, а ты продал мне голову за марку!

Еврей преспокойно замечает:

— Ну вот, уже подействовало.

Напоследок анекдот о разнице между лечением самой болезни и ее симптомов. Горожанину, отдыхающему на даче, мешает спать петух: кукарекает каждое утро спозаранку. Умник идет в аптеку, покупает лекарство от бессонницы и скормливает его петуху: так вот, это — лечение причины, а не симптоматики.

Хобби

Поскольку мы говорим о характере и личности и о том, в чем они проявляются, необходимо коснуться и хобби. Но сначала признаюсь в кофемании: я так завишу от кофе, что в поездки беру с собой кофеиновую таблетку на случай, если не удастся заполучить чашку крепкого кофе. И вот приезжаю я однажды в Зальцкаммергут, в Гмунден, на лекцию, захожу перед лекцией в кофейню и заказываю то, что в Вене называют «капучин», то есть очень темный, крепкий напиток — его по-

тому и прозвали «капуцином», что такие исчерна-коричневые рясы носили монахи. Официант приносит «гешладер» — слабенький, разбавленный водой кофе. Я бегу обратно в отель за таблеткой кофеина и натыкаюсь в фойе... на капуцина, то есть настоящего капуцина, монаха. И под мышкой у него мои книги из монастырской библиотеки, которые он прихватил, чтобы попросить у меня автограф.

Альпинизмом я увлекался вплоть до 80 лет. В тот год, когда я не мог отправиться в горы, потому что носил желтую звезду, восхождения снились мне по ночам. Мой друг Хуберт Гсур уговорил меня, и я отважился поехать в Хоэн Ванд, *сняв* желтую звезду, и мы забрались на отвесную скалу (мы выбрали Канцелграт), где я готов был буквально целовать камни.

Альпинизм — единственный вид спорта, о котором можно сказать, что неизбежное убывание физических сил компенсируется приобретенным опытом восхождений и отточенной техникой скалолазания. К тому же лишь в часы, когда я карабкался к очередной вершине, я с гарантией забывал об очередной своей книге или ближайшем докладе. И Хуан Баттиста Торелло¹² не слишком ошибся, предположив, что 27 почетных званий доктора и профессора меня не так обрадовали, как два маршрута в Альпах, которые первопроходцы в мою честь назвали «тропой Франкла».

Я уже говорил, что всепоглощающими занятиями мне кажутся три — игра в рулетку, операция на мозге и первое восхождение. И добавлю: самый счастливый для меня момент — когда, завершив рукопись и отослав ее в издательство, я тут же отправляюсь в путь, забираюсь на серьезную гору, а потом провожу ночь в приюте альпинистов, в теплой комнате вместе с приятными мне людьми. Я всякий раз отправляюсь в горы (как другие люди — в пустынь), чтобы собраться с мыслями в уединении где-нибудь на плато Раке¹³, например. Почти все важные решения, существенные выводы были мной сделаны во время таких одиноких вылазок в горы.

И я одолел не только Альпы, но и Татры, и влез на труднодоступный пик, которому присвоена четвертая степень сложности. Влез вместе с Элли. Я поднялся на столовую гору Капштадта¹⁴, то есть побывал в Южной Африке, благо меня пригласили выступить с докладом на юбилее Стелленбосского университета. Повел меня в горы сам президент южноафриканского клуба альпинистов. И мы с Элли благодаря счастливому случаю оказались первыми членами только что открывшейся американской школы альпинизма в Йосемитской долине.

Друзья намекали, что моя любовь к скалолазанию связана с моим интересом к «высокой психологии», которую я открыл и впервые описал в 1938 году. Пожалуй, да: в 67 лет начал обучаться на пилота и через пару месяцев совершил первый самостоятельный полет.

И еще о нескольких важных для меня хобби. Огромное значение я придаю галстукам, я способен влюбиться в галстук, причем платонически, то есть буду им любоваться на витрине и восхвалять его красоту, даже зная, что он не принадлежит мне и никогда принадлежать не будет.

Хобби может завести человека довольно далеко: настолько, что из любителя, занимающего этим делом для себя, сделаешься полупрофессионалом. Это произошло со мной в сфере дизайна очков. Я так здорово в этом разбираюсь, что одна из крупнейших в мире фабрик прислала мне очередной эскиз с просьбой одобрить новый дизайн прежде, чем его запустят в серийное производство.

Дилетантство ничуть меня не смущает, я отважно бросаюсь в него. Я и музыку сочиняю: написал элегию, которую профессиональный композитор аранжировал, — ее часто исполнял оркестр, а мое танго передавали по телевидению.

Лет двадцать тому назад меня пригласили в Викаерзунд, примерно в часе езды от Осло, в санаторий для нервноболезных: главный врач этого учреждения организовал междисциплинарный симпозиум по логотерапии.

— Кто-нибудь представит меня перед выступлением? — спросил я.

— Да, — ответил главврач.

— И кто же? — уточнил я.

— Новый заведующий кафедрой психиатрии из университета Осло.

— Он меня знает?

— И не только знает: он издавна высоко вас ценит.

Я не мог сообразить, где мы встречались, любопытство во мне разыгралось. И тут появился сам профессор и подтвердил, что давно восхищается мной. Оказалось, это один из многочисленных детей шамеса, служки в синагоге Порлитца — в этом городе в Южной Моравии вырос мой отец.

В пору всеобщей бедности после Первой мировой войны мы всей семьей выезжали в те места на лето, и мой старший брат приложил руку к организации любительского театра. Спектакли ставились в каком-нибудь крестьянском дворе: положенные на бочонки доски превращались в зрительские ряды, труппу составляли мальчишки и девчонки 13—15 лет, и

я в том числе. Я играл доктора Штиглица, который прикрывал лысину париком, и сапожника Книрима в «Злом духе Лумпа-цивагабундусе» Нестроя¹⁵. А знаменитый на весь мир психиатр из Осло, сын шамеса в Порлитце, был в ту пору маленьким мальчиком, на несколько лет моложе меня. Книрим в моем исполнении так впечатлил его, что он на многие десятилетия остался моим поклонником. О логотерапии он мало что знал, зато у него в памяти сохранились Виктор Франкл и сапожник Книрим.

О том, как я однажды и сам написал драму, подробно рассказал Ганс Вейгель в предисловии к моей книге «Сказать жизни „Да!“»¹⁶, то есть к новому изданию моей книги о концлагере¹⁷ (о которой я поговорю позже). Следует уточнить, что по книге о концлагере тоже была написана пьеса, причем сделал это католический священник из Австралии. Один акт этой драмы исполнялся в Торонто как своеобразный пролог к моему докладу: я выступал в театре — в самом просторном помещении Торонто. «Виктор Франкл» появлялся в сюжете дважды, в качестве одного из заключенных и в качестве комментатора. А в зале сидел третий Виктор Франкл — я сам в роли зрителя.

Школа

Началась Первая мировая война, государственным служащим пришлось поужаться. Больше уже никакой дачи, лето мы проводили на родине отца, в Порлитце. Мы, мелкота, обходили крестьянские дворы, выпрашивая хлеб, воровали кукурузу в полях.

В Вене я отправлялся в три часа ночи на рынок, в очередь за картошкой, а в полвосьмого мама сменяла меня, отпускала в школу. И это зимой.

Потом — бурная межвоенная пора. Я с головой погрузился в чтение натурфилософов, таких как Вильгельм Оствальд¹⁸ и Густав Теодор Фехнер¹⁹. С последним, однако, я еще не успел ознакомиться, когда заполнял две толстые тетради сочинением под громким заголовком «Мы и мировой процесс». Я пришел к выводу, что в макрокосмосе, как и в микрокосмосе, действует универсальный «принцип равновесия» (я вернулся к этой мысли в книге «Доктор и душа»²⁰).

И вот однажды, когда мы в очередной раз плыли на пароходе вверх по Дунаю на дачу (в Эфердинг) и я около полуночи лежал на палубе, созерцая «звездное небо над головой» и принцип равновесия «в себе» (Кант нам всем в пример), меня постигло откровение, «ага-переживание»²¹: нирвана — это тепловая смерть, «увиденная изнутри».

Из этого ясно, какое впечатление мог произвести на меня потом Фехнер с его «дневным видением против ночного видения»²², и как еще позже завораживал меня Зигмунд Фрейд, «По ту сторону принципа удовольствия»²³. Но тут мы уже подступаем к истории моего столкновения с психоанализом.

В первых классах средней школы я еще считался образцовым учеником, но затем свернул на собственный путь. Я посещал Народный университет и изучал там прикладную психологию, но интересовался также и экспериментальной. В школе я вместо обычного доклада прочитал целую лекцию с демонстрацией экспериментов, в том числе показал детектор лжи, основанный на психогальванических рефлексах. Подопытным стал один из одноклассников. Когда в ряду ключевых слов я назвал имя его подруги, стрелка гальванометра (а изображение, во много раз увеличенное, еще и проецировалось на стену кабинета) скакнула на максимум. В ту пору мы еще не отвыкли краснеть. К счастью, в кабинете был приглушен свет.

Расхождение с психоанализом

Все чаще я выбирал в качестве темы для докладов и сочинений что-то из области психоанализа. Всех соучеников я обогатил сведениями об этой новой науке, так что они легко догадались о процессах в подсознании нашего преподавателя логики, стоило ему посреди урока оговориться и вместо «по совокупности» произнести «по совокуплению».

Сам я приобретал эти знания непосредственно у известнейших учеников Фрейда²⁴ — Эдуарда Хичмана²⁵ и Пауля Шильдера²⁶, причем последний читал лекции в психиатрической университетской клинике (я ходил на них из года в год) еще при Вагнере-Яурегге²⁷.

Вскоре я вступил в переписку и с самим Фрейдом. Я посылал ему материалы, которые находил благодаря своему обширному междисциплинарному чтению и которые, как мне казалось, могли его заинтересовать, и он незамедлительно отвечал на каждое письмо.

К сожалению, его письма и открытки (наша переписка продолжалась на всем протяжении моей учебы в старших классах) спустя много лет, когда я угодил в концлагерь, были конфискованы гестапо заодно с несколькими историями болезни, которые еще молодой Фрейд составил в психиатрической клинике при университете. Они были полностью написаны им от руки, и архивариус клиники подарил их мне, когда я там работал.

Сидел я однажды на скамейке на главной аллее Пратера — любимое место занятий в ту пору — и набрасывал на бумагу мысли «О происхождении мимических знаков согласия и несогласия». Я приложил эту рукопись к письму, адресованному Фрейд, и был немало потрясен, когда в ответ Фрейд сообщил, что переслал статью в «Международный журнал психоанализа», и спросил, не возражаю ли я.

Несколько лет спустя, уже в 1924 году, статью действительно опубликовали в этом журнале. Но первая публикация у меня состоялась еще в 1923 году, хотя и в молодежном приложении к ежедневной газете. Пикантная подробность: текст, вышедший из-под пера будущего психиатра, открывался предупреждением: он-де терпеть не может здоровых людей. (Конечно же, я подразумевал безоглядноеприятие унаследованных предпосылок.)

Кто меня знает, тот догадывается, что, разойдясь с Фрейдом во взглядах, я продолжал воздавать учителю все подобающее ему почтение. Послужит ли достаточным доказательством тот факт, что в качестве вице-президента австрийского общества спонсоров Еврейского университета в Иерусалиме, когда на заседании зашла речь о сборе денег на постройку университетского здания и для него подбирали имя, я тут же сказал, что это должен быть «корпус имени Зигмунда Фрейда».

С Фрейдом я не только переписывался, но один раз даже встретился — по случаю. К тому времени я был уже не школьником, а студентом-медиком. И когда я ему представился, Фрейд живо произнес:

— Виктор Франкл, Вена, Второй округ, Чернингассе 6, квартира 25 — все верно?

— Точно, — подтвердил я. В результате многолетней переписки мой адрес отложился у него в памяти.

Эта встреча произошла случайно и слишком поздно: я уже подпал под влияние Альфреда Адлера, и тот рекомендовал мою вторую научную работу к публикации в «Международном журнале индивидуальной психологии» (она вышла в 1925 году). Обсуждать впечатление, произведенное на меня Фрейдом, — впечатление, столь контрастировавшее с тем, как я воспринимал Адлера, — не стоит, это слишком далеко бы нас завело. Курт Эйслер²⁸, возглавляющий архив Фрейда в Нью-Йорке, однажды навестил меня в Вене и попросил во всех подробностях наговорить воспоминания об этой встрече с Фрейдом на магнитофон: кассета понадобилась для архива.

Психиатрия: выбор профессии

Еще в школе детское желание стать врачом укрепилось и из интереса к психоанализу превратилось в намерение стать психиатром.

Некоторое время я еще заигрывал с мыслью сделаться дерматологом или принимать роды, но однажды другой студент-медик, Остеррайхер, который позднее обосновался в Амстердаме, задал мне вопрос: неужто я еще ничего не слышал о Серене Кьеркегоре? И с моим заигрыванием с непсихиатрическими предметами получилось в точности как у Кьеркегора: «Отчаиваются, отчаявшись в желании быть собою самим». Я понял, что мой дар принадлежит психиатрии и надо лишь признать в себе этот дар.

Трудно поверить, сколь важными решениями в жизни мы при иных обстоятельствах бываем обязаны почти что небрежно брошенному со стороны замечанию. Во всяком случае, с того момента я решил не уклоняться больше от «развития в сторону психиатрии».

«Но в самом ли деле мой дар — именно дар психиатра?» — спрашивал я себя. Знаю одно: если это правда, то талант психиатра каким-то образом связан с другой моей способностью — карикатуриста.

Карикатурист, как и психиатр, первым делом обращает внимание на человеческие слабости. Правда, в роли психиатра или психотерапевта я помимо (наличных) слабостей интуитивно ищущ также (потенциальные) возможности преодолеть эти слабости, ищущ пути выхода из тяжелой ситуации, стараюсь выявить смысл этой ситуации и таким образом преобразить бессмысленное с виду страдание в глубокий человеческий опыт. И в целом я убежден, что нет таких ситуаций, из которых нельзя было бы извлечь смысл. Это убеждение, в более структурированном и систематизированном виде, и лежит в основе логотерапии.

Но какая польза была бы от психиатрических способностей, если бы не было психиатрических потребностей? Следовало бы спросить не что дает человеку возможность стать психиатром, а что его к этому побуждает! Думаю, для незрелого человека заманчивость психиатрии заключается в посуле *власти над другими*: можно распоряжаться, можно манипулировать людьми; знание — сила, и знание механизмов, в которых неспециалисты не разбираются, а мы разобрались до тонкости, дает нам власть.

Самый наглядный пример — гипноз. Должен признаться, в юности я интересовался также гипнозом и уже в 15 лет заправски мог гипнотизировать желающих.

В «Психотерапии на практике»²⁹ я описываю, как в гинекологическом отделении больницы имени Ротшильда выступил в роли гипнотизера. Мой начальник, главный врач больницы доктор Фляйшман, дал мне однажды почетное и сложное задание: загипнотизировать одну пожилую женщину. Ей предстояла операция, общего наркоза она бы не перенесла, и по какой-то причине местный наркоз ей также не подходил. Я попытался обезболить бедняжку исключительно методом гипноза — и мне это полностью удалось.

Но был и неожиданный побочный эффект! К хвале моих коллег и благодарностям пациентки присоединились горькие и гневные упреки медсестры, в обязанности которой входило подавать инструменты врачам: все время, пока шла операция, сказала она мне, она из последних сил боролась с сонливостью, которую нагоняли на нее мои монотонные заклипания. То есть я усыпил не только пациентку, но и медсестру.

В другой раз — когда я пришел на работу в неврологическую больницу замка Марии-Терезии — мой шеф профессор Герстман³⁰ попросил меня усыпить гипнозом пациента, располагавшегося в палате на двоих. Поздно вечером я проскользнул в палату, сел на кровать этого страдавшего бессонницей мужчины и битых полчаса твердил: «Вы совершенно спокойны, вы чувствуете приятную усталость, вы дышите совершенно спокойно, веки отяжелели, никаких тревог, вы засыпаете, сейчас вы заснете».

Так я трудился полчаса, но тщетно: пришлось уйти, с разочарованием признавшись, что помочь бедолаге я ничем не смог.

К моему изумлению на следующее утро, войдя в палату, я услышал радостное приветствие: «Как я прекрасно выспался: только вы начали, и я сразу провалился в глубочайший сон». Это был другой пациент, сосед того, которого я пытался загипнотизировать.

Власть и влияние психиатра тоже подчас преувеличивают. Недавно мне позвонила — в три часа ночи — некая дама из Канады (причем телефонистка предупредила, что разговор предстоит оплатить мне). Я сказал, что не знаком с этой дамой, однако мне тут же заявили: это вопрос жизни и смерти. Пришлось взять расходы на себя, и в разговоре быстро выяснилось: дама страдает паранойей. Ей мерещились злобные агенты ЦРУ, и я казался единственным человеком, который

сможет ее защитить и спасти, то есть она приписывала мне такие таланты и такую власть. Пришлось ее разочаровать — увы, не удалось разочаровать ее настолько, чтобы она не позвонила мне снова на следующую же ночь, в три часа. Но тут уж я отказался оплачивать разговор, пусть его ЦРУ оплачивает...

Влияние врача

Сила, власть и т. д. Я согласен с Джоном Раскином³¹: «Есть лишь одна власть — спасти людей. И лишь одна честь — помогать людям». Событие это произошло, кажется, в 1930 году, когда я в рамках Народного университета читал в венской гимназии (она располагалась в Циркустгассе) курс по душевным заболеваниям, об их происхождении и профилактике (заметьте: не о распознавании и лечении). Помню, как-то вечером — смеркалось, но в зале или в классе еще не включали свет, — я рассказывал двум десяткам напряженно внимавших слушателей о понятии «ориентировка на смысл» и утверждал безусловный смысл жизни. Я чувствовал, как восприимчивы слушатели к моим словам, я понимал, что снабжаю их чем-то жизненно важным, что они покорны мне, как глина горшечнику. Иными словами, я ощутил и использовал «власть спасти».

И как сказано в Талмуде, «кто спасает одну лишь душу, равен тому, кто спасает целый мир».

В связи с этим припоминается мне уже не совсем юная дочь знаменитого биолога, которая в 1930 году, в первый мой год работы в клинике нервных заболеваний «Ам Розенхюгель», оказалась моей пациенткой. Она страдала тяжелой формой невроза навязчивости и уже много лет провела в больнице. И вновь — сумерки, я сижу в палате на двоих, на краю второй, незанятой койки и настойчиво обращаюсь к своей пациентке. Я стараюсь изо всех сил добиться, чтобы она дистанцировалась от своего навязчивого состояния. Я разбираю каждый ее аргумент, опровергаю все ее страхи. Она становилась все спокойнее, все свободнее и бодрее. Каждое мое слово падало на плодородную почву. И вновь это чувство — глина в руках горшечника...

Философские вопросы

Даже в пору такой поглощенности психиатрией и в особенности психоанализом меня не покидало и увлечение философией. В Народном университете имелось философское общество во главе с Эдгаром Цильзелем³². Лет в 15—16 я прочел в этом обществе доклад — не более и не менее как о смыс-

ле жизни. Уже тогда мне удалось сформулировать два основных для меня принципа: мы не вправе даже вопрошать о смысле жизни, потому что мы и есть те, кого вопрошают, и мы и есть те, кто должен отвечать на поставленные жизнью вопросы. Ответить же на эти вопросы мы можем, лишь сказав «да» самому бытию-в-мире.

Но второй принцип утверждал, что главный смысл ускользает от нашего познания, не уместается в его рамки, словом, это «сверхсмысл», однако ни в коем случае не «сверхчувственное». В этот смысл мы можем только верить, в него мы должны верить. И, пусть не всегда сознавая это, каждый из нас заведомо в него верит.

И примерно в то же время, в том же возрасте, я вижу себя воскресным вечером на Таборштрассе, в тех местах, где я так часто прогуливался, и слышу свои мысли, скорее даже внутренний гимн: *«Благословенна судьба, да утвердится ее смысл!»*

Из этого следует, что любые события, какие с нами случаются, обладают этим предельным, непознаваемым смыслом — высший смысл недоступен нам, но мы должны в него верить. В сущности, я заново открыл «любовь к року», проповеданную Спинозой, его amor fati.

Вера

Что касается веры, на эту тему я вроде бы рассуждал достаточно. Разграничению психотерапии и теологии, или, по выражению Фрица Кюнкеля³³, отличию между лечением души и душелечением посвящена значительная часть моего литературного творчества.

Во-первых, нужно определить, с какой позиции я говорю о вере — как психиатр или как философ, как врач или «просто как человек». Во-вторых, я прошел через разные этапы развития — в детстве был набожен, подростком пережил пору атеизма. В-третьих, нужно всегда учитывать адресата, аудиторию, к которой обращаешься. Мне и в голову не придет, общаясь с профессиональными психиатрами, говоря о логотерапии как о психотерапевтическом методе или технике, обсуждать вопросы личной веры. Это отнюдь не пойдет на пользу делу, то есть укреплению популярности логотерапии, а ведь моя главная обязанность состоит именно в этом.

В недавних публикациях я вновь занялся вопросом, что мы можем считать случайностью в чистом виде и когда следует искать за видимостью случая более высокий или более глубокий, окончательный смысл.

И в связи с этим вспомнилась мне такая история: однажды в Вене я проходил мимо церкви, которая очень мне нравилась (не подлинный, но очень точный образец готики), однако до той поры я ни разу не бывал внутри, а тут вдруг услышал музыку органа и предложил жене зайти и посидеть в церкви.

Только мы вошли — орган смолк, священник подошел к кафедре и начал проповедь. Он заговорил о доме по Берггассе 19, о жившем там «безбожнике» Зигмунде Фрейде. Затем он сказал: «Даже не нужно идти так далеко, на Берггассе. Прямо за нашей церковью, на Марианнengассе, в доме № 1 живет Виктор Франкл, он написал книгу „Доктор и душа“, безбожную книгу». И он начинает (воспользуюсь хорошим венским присловьем) «драть мою книгу в ключья». Надо было бы тогда подняться и назвать свое имя, да я побоялся, как бы проповедника удар не хватил. Он же никак не думал, что я сижу и слушаю его речь. Но вопрос в другом: сколько минут прошло от моего рождения до проповеди, до того момента, как я впервые в жизни надумал войти в эту церковь? Насколько велика вероятность, что я вошел бы в нее именно тогда, когда проповедник решил обличить меня?

Мне этот случай представляется идеальным примером таких совпадений, которые лучше и не пытаться истолковывать. Я слишком глуп, чтобы постичь смысл этого события, но слишком умен, чтобы отрицать этот смысл.

Вернемся ко мне. Итак, в возрасте 15—16 лет я увлекался философией. Я был еще слишком юн и не мог противостоять *искушению психологизма*. Лишь в работе на аттестат зрелости, для которой я выбрал тему «Психология философского мышления» и произвел тогда еще насквозь психоаналитическую патобиографию Артура Шопенгауэра, я наконец-то отказался хотя бы от привычки считать заведомо неверным все, что исходит от больного ума. Позднее в «Докторе и душе» я подытожил: «Дважды два всегда будет четыре, даже если это утверждает шизофреник».

Но имелся другой вид искушения: социологическое. Уже в средней школе я присоединился к Социалистической рабочей молодежи и в 1924 году был избран старшиной социалистических школьников всей Австрии. Мы с друзьями ночи напролет бродили по Пратеру и обсуждали как альтернативу не только «Ленин или Маркс», но и даже: «Фрейд или Адлер».

Какой же теме я посвятил статью, опубликованную Адлером в его журнале? Той, что красной нитью пройдет через все мои работы: определению пограничной области между психотерапией и философией, в особенности же стремился установить проблематику смысла и ценности в психотерапии. И должен сказать, я, пожалуй, не знаю другого человека, кто бился бы над этой проблемой так, как бился я всю свою жизнь.

Это *лейтмотив* всех моих трудов. Что же касается мотива, который побудил меня написать эти работы, это желание устранить из сферы психотерапии психологизм, заодно со столь же часто навязываемой психотерапии «патологизацией». Это лишь две стороны всеохватывающего редуccionизма (туда же следует отнести педалирование и социологического, и биологического). Этот редуccionизм — нигилизм наших дней. Это попытка устранить одно из человеческих измерений — и как раз то, которое и делает человека человеком. То, что является специфически человеческим, выводится за рамки человеческого, куда-то на дочеловеческий уровень. Одним словом, редуccionизм — это расчеловечивание человека. Уж простите.

Столкновение с индивидуальной психологией

Вернемся к Адлеру: в 1925 году моя статья «Психотерапия и мировоззрение» была опубликована в издаваемом Адлером «Международном журнале индивидуальной психологии». В 1926-м последовала еще одна статья. В том же году мне предстояло читать на международном конгрессе по индивидуальной психологии в Дюссельдорфе основополагающий доклад, но я не мог осуществить эту задачу, не отойдя прежде от строгой ортодоксии: ведь я оспаривал положение, будто неврозы всегда и повсюду представляют собой, в духе учения о «характерологии», всего лишь средство достижения цели. Я склонялся к альтернативному подходу — рассматривать неврозы (не только как «средство», но и) как «выражение», то есть не исключительно с инструментальной точки зрения, но и с экспрессивной.

Я впервые отправился в командировку и решил по пути туда остановиться на пару дней во Франкфурте-на-Майне, а на обратном пути — в Берлине. Во Франкфурте — трудно в это поверить, смешно ведь — я, студент-медик 21 года от роду, по приглашению Союза социалистической молодежи вновь прочел лекцию о смысле жизни. На лекцию молодежь двигалась колоннами, неся знамена, — слушатели заранее встречались

в установленном месте. На обратном пути в Берлине я сделал доклад по линии Общества индивидуальной психологии.

В 1927 году мои отношения с Адлером обострились пуще прежнего. Два человека, встреченные в начале жизни, оказали на меня сильнейшее влияние не только как личности, но и как профессионалы: Рудольф Аллерс и Освальд Шварц³⁴. Аллерс предоставил мне возможность проводить эксперименты в возглавляемой им психофизиологической лаборатории, а Шварц, основатель психосоматического направления в медицине и медицинской антропологии, оказал мне честь и написал предисловие к книге, которую я готовил для издательства Hirzel, выпускавшего литературу по индивидуальной психологии. Однако этой книге не суждено было выйти в свет, потому что я тем временем покинул Общество индивидуальной психологии (краткое изложение основных идей этой погибшей в зародыше книги появилось в 1939 году в «Швейцарском еженедельном медицинском обозрении»). В предисловии Шварц заявил, что эта книга станет для истории психотерапии тем же, чем для философии — «Критика чистого разума» Канта. Он и вправду в это верил.

В ту пору я окончательно пересмотрел свои взгляды на психологию. Меня основательно встряхнул Макс Шелер³⁵, чью книгу «Формализм в этике»³⁶ я носил при себе, точно Библию. Настала пора критически разобраться с психологизмом. Я пригласил мудрейшего среди адлерианцев «богемца» Александра Нойера на дискуссию в литературное кафе «Херренхоф». Он поставил мне в заслугу вычисленную из ряда моих рукописей попытку разгадать, опережая исследования Макса Планка, тайну свободной воли и, опережая основателей гештальтпсихологии, выяснить приоритеты формы и содержания. Однако затем он принялся разносить меня за «духовную измену» — ее он также обнаружил в моих рукописях. Это меня задело. Я не желал и впредь довольствоваться компромиссами.

В том же 1927 году наступил день, когда Аллерс и Шварц публично объявили о выходе из Общества индивидуальной психологии (уведомление они подали раньше) и объяснили причины разрыва. Заседание проходило в большом зале Гистологического института при Венском университете. В заднем ряду угнездилась парочка фрейдистов, которые злорадно наблюдали за спектаклем: Адлера постигла та же участь, как раньше — Фрейда, когда Адлер покинул Венское психоаналитическое общество. Вновь «раскол». И тем чувствительнее для Адлера, что среди свидетелей затесались психоаналитики.

Адлере и Шварц закончили свою речь, воздух от напряженности так и звенел. Как отреагирует Адлер? Мы ждали его слов, однако напрасно: вопреки обыкновению в тот раз он так и не выступил. Мучительно протекала минута за минутой. Я сидел поблизости от Адлера в первом ряду, между нами — его ученица, тоже, как ему было известно, пришедшая к разладу с его теорией. И вдруг он обратился к ней и ко мне, подначивая: «Что ж вы, храбрецы?» То есть он требовал от нас взять слово и честно высказать свою позицию.

Не оставалось другого пути, кроме как выйти перед всеми и бросить им вызов: удалось ли индивидуальной психологии в самом деле подняться над психологизмом? И я допустил существенный промах: я перед «врагами», психоаналитиками, назвал Шварца своим учителем, выразив ему столь глубокое признание. И тут уж вряд ли могли меня спасти уверения, что я не вижу причины расставаться с Обществом индивидуальной психологии, поскольку это направление вполне способно собственными силами преодолеть психологизм. Тщетны оказались все мои усилия посредничать между Аллерсом, Шварцем и Адлером.

Адлер с того дня больше ни словом со мной не обмолвился и даже перестал здороваться, когда я, как прежде из вечера в вечер, входил в кафе «Зиллер» и приближался к столику, за которым он проводил заседания. Так и не простил, что я не пожелал безоговорочно во всем ему следовать.

Вновь и вновь он давал мне понять, что пора выйти из основанного им общества, хотя я и прежде, и тогда не видел на то ни малейшей причины. Тем не менее два месяца спустя я формально разорвал связь с этим объединением.

Нелегко дался мне этот «исход». На протяжении года я занимался изданием журнала по индивидуальной психологии, «Человек в повседневности», и теперь, разумеется, выпуск журнала прекратился. И в целом я лишился прежней компании. Лишь немногие индивидуальные психологи сохранили со мной если не научные, то хотя бы человеческие отношения. Хотелось бы с благодарностью упомянуть в этой связи так рано покинувшего нас Эрвина Вексберга³⁷, Рудольфа Дрейкурса³⁸ и дочь Альфреда Адлера, Александру.

По крайней мере с тех пор никто не мог бы меня попрятать, будто моя логотерапия — «всего лишь извод адлерианской психологии» и я, мол, не вправе выдавать ее за самостоятельное направление исследований и давать ей особое название. На подобные упрёки я всегда могу ответить: кто более всех вправе судить, принадлежит ли логотерапия к общему направ-

лению индивидуальной психологии или выходит за ее рамки, если не сам Адлер? Адлер же настоял, чтобы я вышел из Общества индивидуальной психологии. *Roma locuta causa finita* ³⁹.

Начало логотерапии

Еще раньше мы с Фрицем Вительсом⁴⁰, который был первым биографом Фрейда, и с Максимилианом Зильберманом основали Академическое общество медицинской психологии. Я занял должность вице-президента. Зильбермана выбрали президентом, а затем его сменили Фриц Редлих⁴¹ и Петер Хофштеттер⁴². В совете у нас заседали Фрейд, Шильдер и прочие знаменитости Вены, которая в 1920-е годы была Меккой психотерапии. При объединении имелась рабочая группа, и здесь я в 1926 году прочел доклад и впервые утвердил в академической аудитории термин «логотерапия». Альтернативный термин «экзистенциальный анализ» я начал использовать лишь с 1933 года. К тому времени мне удалось в известной мере систематизировать свои идеи.

К 1929 году я продумал различия между тремя ценностными группами, то есть тремя возможностями придать жизни — вплоть до последнего мгновения, до последнего вздоха — смысл. Эти три возможности придать жизни смысл суть *поступок*, который человек совершает, *работа*, которую человек делает, или *переживание, встреча, любовь*. Даже перед лицом необоримой судьбы (например, неизлечимой болезни, неоперабельного рака) мы в состоянии придать жизни смысл, принеся свидетельство самого человеческого из всех человеческих даров: способности преобразить страдание в свершение духа.

Как известно, официальное звание *третьего направления венской психотерапии* присвоил логотерапии Вольфганг Сучек. Можно сказать, тут проявился биогенетический закон Геккеля, согласно которому онтогенез в ускоренном темпе воспроизводит филогенез, ведь я сам прошел через два первых направления венской психотерапии. И тоже в ускоренном темпе: в 1924 году Фрейд опубликовал в «Международном журнале психоанализа» мою статью, а уже годом позже, то есть в 1925-м, вторая статья появилась в журнале Адлера. Итак, я могу утверждать, что я принял участие в развитии психотерапии и кое в чем предвосхитил даже развитие некоторых направлений. Взять хотя бы парадоксальную интенцию — я практиковал этот метод уже в 1929 году, а в 1939 году опубликовал статью с таким же названием. Выдающиеся специалисты по поведенческой терапии неоднократно признавали,

что «парадоксальной интенцией» мне удалось предвосхитить гораздо более поздние, сложившиеся уже в 1960-е методы лечения. Не говоря о технике лечения расстройства потенции, которую я подробно описал уже в книге «Практика психотерапии»⁴³ (1947), — в 1970-е Мастерс⁴⁴ и Джонсон вдруг открыли ее в качестве «новой» методики сексотерапии.

По поводу поведенческой терапии я бы не хотел особо распространяться. Она, если можно так выразиться, таскала за меня каштаны из огня, пока я боролся против психоанализа и, разумеется, против индивидуальной психологии. Пока эти два направления сражались друг с другом, третья (третья венская психотерапия) могла радоваться в уголке. И я вполне доволен, что логотерапии не пришлось ввязываться в спор с другими направлениями, потому что она появилась на свет с большим запозданием.

Что же касается особого содержания логотерапии, Гордон Олпорт⁴⁵ в предисловии к «Человеку в поисках смысла» назвал ее «самым значительным психологическим направлением современности». Хуан Баттиста Торелло также утверждал, что логотерапия — последняя в истории психотерапия, предлагающая настоящую систему. Я бы сказал, что в этом она идет рука об руку с судьбоанализом Сонди⁴⁶ — там действительно предлагается сложная система, — если люди из столь разных областей, как я и Сонди, вообще могут идти рука об руку. Лично я считаю тест Сонди занятной салонной игрой, не более.

Торелло также говорил, что я войду в историю психиатрии как человек, нашедший терапевтический подход к болезни века, то есть к *утрате смысла*. В самом деле, не в последнюю очередь логотерапия была изобретена с этой целью.

Однако, если меня спросят о первоисточнике, о глубочайших корнях, о скрытом мотиве, побудившем меня создать логотерапию, я смогу назвать лишь одну причину, которая сподвигла меня искать этот путь и неустанно работать над его совершенствованием: сострадание к жертвам современного цинизма, ибо он весьма распространен в психотерапии в ее худших изводах. Под «изводами» я разумею коммерциализированные формы, а худшими изводами считаю недостойные с научной точки зрения. Когда видишь перед собой не просто душевнобольных пациентов, но еще и травмированных психотерапией, это зрелище удручает. Борьба против расчеловечивающих, обезличивающих тенденций, которые привносятся в психотерапию психологизмом, красной нитью проходит через все мои труды.

Мы, логотерапевты, изобрели принципиально другую технику. Таковой признана парадоксальная интенция и в меньшей степени — техника общего знаменателя. По поводу второй техники мне вспоминается, как знаменитая ныне писательница Ильза Айхингер⁴⁷ еще в ту пору, когда она училась в медицинском, обратилась ко мне (кажется, ее направил Ганс Вейгель⁴⁸). Ильза не могла решиться, продолжать ли ей роман, который она начала писать (и который после стал знаменитым), и стоит ли бросить ради этого медицину, или же правильнее будет получить диплом. После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что проще будет прервать учебу и затем вернуться, чем отложить завершение романа. Общий знаменатель удалось сформулировать: что рискованнее отложить на потом?

А в качестве примера применения парадоксальной интенции вспоминается, как я однажды использовал эту технику, чтобы избежать штрафа: я проехал перекресток на желтый свет. Выскочил регулировщик, которого я до того момента не замечал, а я поспешно припарковался на тротуаре и обрушил на неумолимо надвигавшегося стража порядка поток самообвинений: «Вы совершенно правы, как мог я так поступить, такому поступку нет извинения, нет оправдания. Конечно же, я никогда больше не сделаю ничего подобного, это послужит мне уроком, но такое поведение заслуживает строжайшего штрафа».

Полицейский изо всех сил старался меня успокоить и в утешение мне сказал: такое, мол, с каждым может случиться, и он вполне убежден, что я никогда впредь не стану нарушать правила.

Но вернемся к годам учения и странствий молодого психиатра, а именно к тому моменту, когда я вышел из Общества индивидуальной психологии.

Теория и практика: консультирование молодежи

Расставшись с Обществом индивидуальной психологии, я предпочел от теории перейти к практике и организовал сначала в Вене, а потом, по образцу Вены, в шести других городах консультации для молодежи, куда в душевном смятении могли бесплатно обращаться юноши и девушки. На общественных началах консультировали у нас Август Айхорн⁴⁹, Эрвин Вексберг и Рудольф Дрейкурс, также Шарлотта Бюлер⁵⁰ выразила, как и все прочие, готовность принимать у себя на дому.

В 1930 году я впервые провел специальную акцию ко времени выдачи аттестатов, и в результате впервые за много лет в Вене не случилось ни одного самоубийства среди выпускников.

Заинтересовались этим движением и за рубежом, меня приглашали выступить с докладом. В Берлине мне удалось подробно побеседовать с Вильгельмом Райхом⁵¹, который интересовался консультированием молодежи и хотел обсудить, какую роль, согласно моему опыту, в переживаниях молодых людей играют сексуальные проблемы. Увлечшись разговором, он часами возил меня в своем открытом авто по Берлину. В Праге и Будапеште я читал лекции в академических собраниях и таким образом свел знакомство с Отто Петцлем⁵²; позднее он переехал из Праги в Вену, стал последователем Вагнера-Яурега, а для меня на всю жизнь — старшим другом.

Даже по сравнению с Фрейдом и Адлером Петцль казался мне несомненным гением — и рассеян он был, как подобает гению. Вот история, достоверная во всех подробностях. Однажды он заглянул ко мне в поликлинику, я провел его к себе в кабинет, Петцль поставил зонт (с зонтом он не расставался) в шкаф, сел и начал обсуждать со мной какой-то случай. Затем мы попрощались, и я проводил его к выходу. Вскоре Петцль вернулся за зонтиком — взял его и вышел. Тут я заметил, что он по ошибке прихватил мой зонт, и крикнул ему вслед: «Господин профессор, это *мой* зонт!»

— Прошу прощения, — откликнулся он и взял свой зонт. С тем он ушел, и тут я понял, что мой-то зонт он не поставил на место. Снова пришлось бежать за ним и уговаривать: «Простите, господин профессор, но на этот раз вы унесли оба зонта».

Он извинился, в третий раз — в третий! — вернулся ко мне, чтобы отдать мой зонт и забрать свой. И на третий раз он забрал только свой зонт, и больше ничей!

Когда я по приглашению Маргариты Роллер⁵³ из Немецкого общества попечения о молодежи прочел доклад в Брно, а после доклада мы вместе ужинали в ресторане, Маргарита вдруг расчувствовалась: сколько лет она работала в этой сфере с моим отцом, и вот теперь занимается той же работой вместе с сыном!

Действительно, мой отец вместе с министром Йозефом-Марией фон Бернрайтером основал центральную службу защиты детей и попечения о молодежи. В детстве мне эти материи казались такими скучными! И вдруг Маргарита Роллер взволнованно напоминает мне, что придуманные мной молодежные консультации принадлежат к той же сфере деятельности.

Но я не мог засиживаться в ресторане, мне предстояло лететь в Вену — лететь! В 1930 году! Самолет был четырехместный, но обременял его в качестве пассажира только я. Насколько именно обременял, выяснилось на аэродроме, где меня взвесили. В ту пору пилот еще сидел в открытой, незащищенной кабине. Это был первый в моей жизни перелет, настоящее приключение. Иным способом я бы не сумел вернуться в Вену к началу занятий в Народном университете, где я с 1927 года читал различные курсы, а в тот раз мне предстояло начать курс психической гигиены, впервые в венском Народном университете.

Вот еще что мне вспомнилось в этой связи: всякий раз, когда я хотел произвести впечатление на девушку, а моей внешности для этого явно не хватало, я прибегал к маленькой хитрости. Скажем, мы впервые встречаемся на танцах: я пускаюсь в восторженный рассказ о некоем Франкле, чьи занятия в Народном университете я никогда не пропускаю, и настойчиво предлагаю новой знакомой непременно посетить вместе со мной семинар или лекцию. Ближайшим вечером мы приходим в парадный зал гимназии на Циркугсгассе, где этот Франкл читает свой курс, — зал всегда переполнен. Я предусмотрительно устраиваюсь с края в передних рядах, и можете себе представить, какое впечатление это производит на девушку, когда спутник внезапно покидает ее и под аплодисменты публики выходит на авансцену.

Не менее регулярно, чем лекции в Народном университете, читал я и доклады в Организации социалистической рабочей молодежи, и благодаря множеству таких выступлений, за которыми следовала сессия ответов на вопросы, которые передавались в записках, я накапливал опыт и соединял его со знаниями, полученными в молодежной консультации, куда обращались за помощью тысячи молодых людей.

Вероятно, по этой причине Петцль в первый (и, похоже, в последний) раз в жизни сделал для меня исключение и разрешил Отто Когереру, который возглавлял в его клинике психотерапевтическое отделение, дать мне самостоятельную работу еще до того, как я защитил диплом, то есть пока я еще оставался студентом. Тогда я попытался отрешиться от всего, усвоенного на курсе психоанализа и индивидуальной психологии, чтобы учиться у самого пациента, к нему прислушиваться. Я пытался понять, каким ему самому представляется собственное состояние, если он выздоровеет. Я импровизировал.

Я хорошо запоминал услышанное, но забывал собственные реплики. В результате пациенты вновь и вновь сообщали мне, как они успешно применяют парадоксальную интенцию, хотя я, конечно же, придумал этот термин намного позднее и лишь в 1939 году описал метод в «Швейцарском архиве неврологии и психиатрии». Когда я спрашивал пациентов, как они додумались до таких приемов, спасающих их от невроза, они в изумлении отвечали: «Да ведь вы мне все это в прошлый раз и посоветовали». Я сделал открытие — и тут же о нем забыл!

Годы учения врача

Получив диплом, я сперва работал у Петцля в психиатрической клинике при университете, а затем два года учился у Йозефа Герстмана (в его честь назван синдром угловой извилины), чтобы получить образование также в области неврологии. Далее четыре года практики в психиатрической больнице «Штайнхоф», где я возглавлял отделение, прозванное «павильоном самоубийц». Однажды я прикинул: «через мои руки» проходило до 3000 пациенток в год! Так что возможностей совершенствоваться в диагностике у меня было предостаточно.

В «Штайнхоф» я продумал концепцию корrugатор-феномена⁵⁴ как симптома прогрессирующего приступа шизофрении. Свои наблюдения я снимал на пленку и показывал фильм, когда в Венском психиатрическом обществе читал на эту тему короткий доклад.

Но первые дни в «Штайнхоф» и особенно ночи дались мне тяжело. Задали мне работу кошмары пациентов и сами больные с тяжелыми психотическими расстройствами. Мой начальник, главврач Леопольд Павлицки⁵⁵, отец известного венского музыканта, в первый же день велел мне снимать очки, заходя в помещение, где проводили время пациентки моего «павильона»: следовало опасаться удара в лицо, от которого осколки попали бы мне в глаза. Но и такая предусмотрительность мало чем мне помогла. Я послушался доброго совета, но поскольку без очков видел плохо, тут же и схлопотал по физиономии, не успев уклониться от удара. На следующий день я пришел уже в очках, сразу заметил какую-то фигуру, подкрадывавшуюся издали с явным намерением напасть, и успел спастись, вовремя путившись наутек.

Все четыре года в «Штайнхоф» я прилежно стенографировал замечательные высказывания пациенток. Я даже подумывал издать книгу под названием «...И глупцы глаголют истину» (полное выражение, как известно, «дети и глупцы глаголют истину»). Например, одной старой женщине во время

обычного теста на интеллект задали вопрос, чем ребенок отличается от карлика, и она живо ответила: «Боже, господин доктор, ребенок же — это ребенок, а карлики — они в шахтах работают». Охотно воспроизводил я и ответы, полученные на вопрос: «Был ли у вас опыт половых отношений?» Я второпях записывал их, боясь упустить самые смачные. «Нет», — говорит одна. Я настаиваю: «Никогда?» — и слышу от нее: «Разве что в детстве». Другая на тот же вопрос ответила: «Господи, доктор, только если меня насилуют, сама-то я никогда не соглашаюсь».

Наверное, стоит пояснить, что это название, «...И глупцы глаголют истину», имело еще один смысл — как раз тот, на который опирается логотерапия в борьбе против психологизма: не все, что исходит из уст больного, непременно следует отвергать как заблуждение. Эту теорию я стал называть *логотеорией*.

Итак, логотерапия объявила войну патологизму. Могу то же название книги сформулировать по-другому, так, как я на самом деле сформулировал в первой своей книге: «Дважды два четыре, даже если это утверждает параноик!»

В 1937 году я открыл частную практику как невролог и психиатр. Из этой практики особо запомнился мне один эпизод: в самом ее начале некий пациент чуть меня не убил. Приемная располагалась на Чернингассе, на четвертом этаже. Родители с остальными детьми уехали в отпуск, я оставался дома один. Пациент, молодой, рослый, крепко сложенный шизофреник, беседовал со мной на четвертом этаже у открытого окна (окно, заметим, доходило почти до полу). И вдруг у этого парня случился приступ агрессии, он изругал меня последними словами и бросился ко мне, твердо вознамерившись вышвырнуть меня в окно. Физически я не мог оказать ему сопротивления, и я сообразил не молить его о пощаде и вообще ни о чем его не просить, но изобразить глубокую обиду: «Вот видите, — сказал я ему, — как мне горько и обидно: всеми силами я старался помочь вам, а какова благодарность? Вы называли меня другом, и что же? Нет, такого я от вас не ожидал. Это мне очень обидно».

И он отпустил меня и даже согласился на уговоры лечь в больницу и там укрыться «от врагов». Там, сказал я, он окажется вне досягаемости для врагов — но *только там*. Он покорно отправился со мной к стоянке такси, а по дороге я убедил его даже, что будет смешно тратить собственные деньги из-за происков врагов, и предложил ехать на такси не напрямую в больницу, а сначала в полицейский участок: полиция оплати-

ла ему проезд на скорой помощи за счет города, и он был автоматически зачислен на казенный счет, то есть не платил за лечение.

Психолог в концлагере. Об Освенциме и коллективной вине

Аншлюс

Но недолго посчастливилось мне вести частную практику психиатра и невролога. Прошло всего лишь несколько месяцев, и в марте 1938 года гитлеровские войска уже маршировали по Австрии. В насыщенный политическими событиями вечер мне пришлось внезапно подменить коллегу и вместо него читать доклад «Невроз как симптом нашего времени». Вдруг дверь распахнулась, перед нами предстал штурмовик в форме SA. «Разве при Шушнице⁵⁶ такое возможно?» — спросил я себя. Штурмовик явно пытался сорвать доклад и помешать нашей работе.

И я сказал себе: «Все возможно! Говори же так, чтобы он растерялся и не знал, как ему поступить, забыл о цели прихода. Завладей его вниманием». И я продолжал говорить, уставившись прямо в лицо штурмовику. Я говорил и говорил, а он словно прирос к полу и не тронулся с места, пока я полчаса спустя не закончил выступление. Высшее ораторское достижение моей жизни!

Я поспешил домой; улицы были заполнены демонстрантами — поющими, веселящимися, воющими. Дома я застал мать в слезах: Шушниц по радио произнес прощальную речь, и теперь передавали лишь невыразимо печальную мелодию.

Еще одно слово по поводу ораторского искусства : спустя много лет, когда я уже возглавлял неврологическую поликлинику, я устроил прием для сотрудников, и моя жена подпоила врача, чтобы вызнать у него, какое прозвище дали мне в клинике. Наконец, совсем опьянев, он выболтал: меня прозвали Нервогеббельсом. Мы с женой сочли это за комплимент. Каждой твари дано оружие для самозащиты — кому рога, кому копыта, жало или яд, у меня — дар красноречия. Покуда мне рот не заткнут, со мной лучше не связываться.

Кто со мной пытается спорить, не обрадуется: я всегда сумею посмеяться над ними, причем публика будет на моей стороне.

Вошли гитлеровские войска — и все наперекосяк: визу мне больше не давали, в итоге предложили возглавить неврологическое отделение в клинике Ротшильда, и я согласился: эта работа давала хотя бы частичную гарантию, что меня и моих состарившихся родителей не отправят в концлагерь.

В клинике Ротшильда я смог, даже в такой напряженной ситуации, продолжить научную работу. Одно время случилось до десяти попыток суицида за день — еврейское население Вены совершенно пало духом. И в тех случаях, когда терапевт, то есть в первую очередь профессор Донат, отказывался от пациента как от безнадежного, я вводил различные стимуляторы внутривенно, а если это не помогало, то и интрацистернально⁵⁷. Посреди войны с одобрения референтов еврейского отдела Национал-социалистической ассоциации врачей была опубликована в швейцарской *Arz Medici* моя статья об этих опытах.

Мне удалось даже усовершенствовать известную технику подзатылочного прокола — пункции, которая помогала устранить вполне конкретную опасность. Я первым обратил внимание на эту проблему и, наконец, решился в тех случаях, когда интрацистернальная инъекция не давала эффекта, проводить трепанацию черепа и вводить лекарство непосредственно в боковой желудочек, одновременно дренируя четвертый желудочек с помощью подзатылочного прокола: так лекарство мгновенно попадало в водопровод среднего мозга и начинало благотворное действие в прилегающих к этому водопроводу жизненно важных центрах. Пациенты без дыхания и пульса в результате жили еще два дня: гипервентиляция начиналась на операционном столе.

Следует учесть, что я видел эти хорошо известные операции только в медицинском учебнике Dandy⁵⁸ — Райх, главный хирург больницы Ротшильда, отказался их проводить, а профессор Шонбауэр вовсе не впускал меня в свою клинику, когда он сам или его сотрудники проводили операции на мозге.

Но я так набил руку на этих операциях, что мечтал уже о настоящей, полномасштабной трепанации. Смотритель операционного зала в больнице Ротшильда (он прежде много лет работал при Шонбауэре) поверить не мог, что у меня не было прежде хирургического опыта.

Моя ассистентка доктор Раппапорт считала неправильным возвращать к жизни людей, которые пытались покончить с собой. Настал день, когда сама госпожа Раппапорт получила предписание о депортации. Она предприняла попытку суици-

да, была доставлена в мое отделение, я ее откачал, и в итоге ее депортировали.

Уважая решение человека, вознамерившегося покончить с собой, я требую, однако, уважения и к моим принципам, а они гласят: спасать, пока я могу. Лишь один раз изменил я этому принципу. Престарелые супруги решили вместе уйти из жизни. Их доставили к нам в больницу. Жена была уже мертва, муж умирал. Меня спросили, пуцу ли я и в этот раз в ход крайние меры, чтобы оживить его. Я не смог, ибо спросил себя: неужели я готов взять на себя такую ответственность, вернуть этого человека к жизни лишь затем, чтобы он мог присутствовать на похоронах жены?

Такой же подход я считаю правильным по отношению к неизлечимо больным людям, которым жить осталось недолго, а страдания их велики. Разумеется, и эти страдания — еще один шанс, последняя возможность для человека реализоваться. Следует с величайшей деликатностью указать больному на эту принципиальную возможность, но требовать такого подвига в пограничной ситуации можно лишь от одного человека — от себя самого. Столь же спорным кажется мне и высказывание, будто всякий предпочел бы отправиться в концлагерь, нежели склониться перед нацистами. Может, и так, однако рассуждать об этом вправе лишь тот, кто рисковал собой, а не давал советы из безопасного далека. Со стороны просто судить о поступках других людей.

Трагическое положение венских врачей-евреев при Гитлере не было, конечно же, лишено и трагикомических черт. Многие евреи были уволены из отделения неотложной помощи, их места заняли молодые приверженцы нацизма, по большей части не имевшие нужного опыта, — только этим можно объяснить вопиющий случай, когда юный врач объявил доставленную в больницу Ротшильда пациентку мертвой. Ее отвезли в прозекторскую, и там она не только очнулась, но и расшумелась так, что ее пришлось привязать к каталке и в таком виде перевезти в терапевтическое отделение. Нечасто приходится возвращать пациентов из морга в отделение!

Некоторую смехотворность обнаруживаю я и в инциденте с молодым человеком, которого мне удалось с помощью лекарств избавить от тяжелых приступов эпилепсии. К сожалению, вместо этих приступов у него появились так называемые эквиваленты, припадки агрессии. В одном из таких припадков он остановился посреди тогда еще населенного евреями второго округа, в Леопольдштадте, прямо на Ротенштернгассе, и принялся во всеуслышание бранить Гитлера. Я тут же отменил

курс лекарств, и у него случился рецидив, то есть повторный эпилептический приступ, зато он избавился от гораздо более опасной для жизни склонности ругать Гитлера.

Борьба против эвтаназии

Петцль, который не был антисемитом, нацепил, однако, в качестве кандидата в партию значок НСДАП⁵⁹, но с величайшей отвагой продолжал помогать мне и моим еврейским пациентам — других я принимать уже не имел права. Он навещался ко мне в еврейскую больницу, чтобы организовать перевод пациентов с опухолью мозга в хирургическую клинику университета. Более того, с его помощью мы саботировали предписанную национал-социалистическими властями эвтаназию душевнобольных.

Я раздобыл в еврейском доме престарелых пару коек с решеткой. Гестапо следило за неуклонным выполнением предписания, согласно которому размещать душевнобольных в доме престарелых категорически запрещалось. Я обошел это правило и при этом уберег от неприятностей руководство дома престарелых, но сунул в петлю собственную шею: я выписывал медицинские справки, согласно которым шизофрения превращалась в афазию, то есть в «органическое заболевание мозга», а меланхолия — в бред, вызванный лихорадкой, то есть опять-таки это не был «психоз в собственном смысле слова». Стоило поместить пациента в дом престарелых на кровать с решеткой, и появлялась возможность по необходимости лечить шизофрению в открытом отделении кардиазоловым шоком⁶⁰ и проходить фазу депрессии без риска самоубийства.

Петцль об этом прослышал, и в его клинике взяли за обычное дело всякий раз, когда поступал пациент-еврей, обращаться в дом престарелых с вопросом: «У нас есть пациент-еврей, примете его?» Крайне осмотрительно, одним лишь словом удавалось намекнуть на истинный диагноз — психоз. Моим диагностическим чудесам Петцль нисколько не препятствовал: каждый, кто решался саботировать эвтаназию, участвовал в общем деле. И так вышло, что приверженцы национал-социализма могли пасть жертвой эвтаназии, но евреев зачастую удавалось спасти — без Петцля нам бы тут никак не обойтись.

Припоминаю, как однажды меня вместе с сотрудницей культурного объединения вызвали в Пуркерсдорф — забрать мужчину и женщину: до того они частным образом содержались опекунами — супружеской парой, — которые больше не могли оставлять их у себя. Обратное мы с дамой из культурно-

го объединения поехали на такси, а перед нами ехали две машины с пациентами. В Хитцинге я вдруг увидел, как одно такси продолжает ехать туда же, куда и мы, то есть по направлению к дому престарелых, а второе свернуло налево.

— Куда это они? — спросил я свою спутницу.

— Ах да, — спохватилась она. — Забыла вам сказать: эта женщина крестилась, а в дом престарелых принимают только иудеев. Ее, к сожалению, придется отправить в «Штайнхоф».

Так разошлись пути! Прямо — в спасительный дом престарелых, налево — в «Штайнхоф» и оттуда в газовую камеру. Кто мог такое предвидеть, когда несчастная (кто знает, по каким причинам) надумала отказаться от веры своих предков? У меня мурашки побежали по спине: я воочию увидел, как любые жизненные решения могут обернуться смертным приговором.

Выездная виза

Год пришлось мне дожидаться визы, дававшей право эмигрировать в США. Наконец, незадолго до вступления Соединенных Штатов в войну, я получил письменное предписание явиться в консульство США для получения визы. Тут я спохватился: как же оставить родителей? Я ведь понимал, какая их ждет участь: депортация в концлагерь. Распрощаться с ними и предоставить их такой судьбе? Виза-то предназначалась для меня одного!

В нерешительности я вышел из дому, прошелся немного и сказал себе: «Не в такой ли ситуации нужен человеку знак свыше?» Вернувшись домой, я увидел на столе небольшой осколок мрамора.

— Что это? — спросил я отца.

— Это? А, это я вытащил сегодня из груды обломков на месте сожженной синагоги. Это осколок скрижалей. Если хочешь, я могу тебе сказать, *какая* именно заповедь начинается с буквы, уцелевшей на этом осколке, — потому что лишь *одна* из десяти заповедей начинается с этой заглавной буквы.

— А именно?

И он ответил мне: «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле...»

И я остался «на земле», с родителями, не стал получать визу. Такой знак подал мне маленький осколок мрамора.

Возможно, решение остаться давно уже созрело во мне, и оракул на самом деле вторил, словно эхо, моей совести. Иными словами, это был проективный тест. Можно ведь было увидеть в этом куске мрамора всего лишь карбонат кальция, но

ведь и это был бы проективный тест, отражение экзистенциального вакуума такого человека...

В связи с этим хотелось бы рассказать, как я с помощью психотерапевтической техники отсрочил нашу, мою и родителей, депортацию — возможно, на целый год. Однажды утром меня разбудил звонок телефона: гестапо, немецкая тайная полиция. Явиться к такому-то часу в их штаб-квартиру. Я спросил: «Взять с собой запасную смену белья?»

— Разумеется, — ответили мне, и этот ответ означал, что домой я уже не вернусь, меня отправят в концлагерь. Я пришел в гестапо, эсэсовец начал меня допрашивать: он хотел получить информацию о человеке, уличенном в шпионаже и бежавшем за границу. Я сказал, что знаю этого господина только по имени, однако не имел случая общаться с ним. И тут последовал вопрос: «Вы же психотерапевт? Как справиться с боязнью открытого пространства?»

Я объяснил.

— Понимаете, у меня есть друг, у него агорафобия. Что ему посоветовать?

Я ответил:

— Скажите ему, пусть каждый раз, когда почувствует страх, он говорит себе: «Чего я боюсь? Упасть на улице в обморок? Прекрасно, именно этого я себе и пожелаю: я свалюсь, сбегутся люди, хуже того — у меня случится удар, инсульт и в придачу инфаркт и так далее, и так далее».

Короче говоря, я научил эсэсовца применять логотерапевтическую технику парадоксальной интенции. Конечно, я сразу же угадал, что его «друг» — это он сам.

Так или иначе логотерапия (непрямая) подействовала, иначе никак не объяснить, почему и я, и мои старики родители смогли прожить в Вене еще год, прежде чем угодили в концлагерь.

Тилли

Благодаря тому, что я остался в Вене, мне представился случай познакомиться с моей первой женой, Тилли Гроссер. Она работала медсестрой, ассистенткой профессора Дона-та, и сразу мне приглянулась, потому что походила на испанскую танцовщицу, как я себе их в ту пору представлял. Но сошлись мы подружкой причине: Тилли решила влюбить меня в себя, чтобы отомстить за подружку, с которой у меня что-то на-

клевывалось, но потом я ее бросил. Я тут же разгадал ее умысел и открыто ей об этом сказал: это произвело на Тилли сильное впечатление.

Однако следует уточнить, что самое примечательное в нашем союзе придется искать не там, где все думают: я женился на Тилли не потому, что она была так очаровательна, и она вышла за меня не потому, что я «такой мозговитый», причем мы оба весьма гордились тем, что причина нашего союза оказалась не столь банальной.

Разумеется, ее внешность меня привлекала, но еще больше — ее существо, ее... как это назвать? Естественный ум, сердечный такт? Приведу для пояснения пример: ее мать в один прекрасный день лишилась брони, которую она имела постольку, поскольку ее дочь работала в клинике. Было объявлено, что родственники льготников больше не имеют права на отсрочку депортации. Незадолго до полуночи в дверь позвонили. Мы с Тилли как раз находились в гостях у ее матери. Никто не решался открыть дверь, все были уверены: принесли повестку о депортации. Наконец кто-то отворил — и кого мы увидели? Курьера из религиозной общины, который принес матери Тилли предписание с утра приступить к новой работе — помогать при вывозе мебели из квартир депортированных евреев. И вместе с этим предписанием курьер вручил моей теще удостоверение, автоматически спасавшее ее от депортации.

Курьер ушел, мы остались втроем, смотрели друг на друга — нет, мы сияли, — и первой нашла что сказать Тилли: «Ну, разве Бог не в каждом?» Прекраснейшее богословие, самая краткая *сумма теологии*, Фома Аквинский позавидовал бы!

Что же побудило меня жениться на Тилли? Однажды она готовила обед у меня дома, то есть в квартире моих родителей на Чернингассе, и тут зазвонил телефон. Меня срочно затребовали в больницу Ротшильда: к одному из терапевтов поступил пациент, наглотавшийся снотворного, — не хочу ли я опробовать на нем свои хирургические приемы? Я даже не стал варить кофе, сунул пару кофейных зерен в рот и разжевал их на пути к стоянке такси.

Через два часа я вернулся, семейный обед был сорван. Я-то думал, все поели без меня (и родители действительно так и поступили), но Тилли дождалась и приветствовала меня отнюдь не ворчней: «Наконец-то явился, я тебя заждаюсь, проголодалась», но вопросом: «Как прошла операция, как себя чувствует пациент?» В этот момент я и решил взять эту девуш-

ку в жены, не потому, что она значила что-то для меня, но потому, что она была собой.

Уже в лагере я подарил ей к 23-му дню рождения какую-то мелочь, которую мне удалось раздобыть, и написал: «На твой праздник желаю себе, чтобы ты хранила верность себе». Двойной парадокс: на ее день рождения я пожелал что-то не ей, а себе, и пожелал, чтобы она хранила верность себе, а не мне.

Мы и еще одна пара оказались последними евреями Вены, кому национал-социалистические власти разрешили вступить в брак. Затем еврейский загс попросту закрыли. Вторая пара — мой учитель из средней школы доктор Эдельман (лет за двадцать до того он преподавал мне историю) и его супруга.

Даже в официальном браке евреям запрещалось иметь детей — не официально, однако де-факто. Был опубликован указ, согласно которому всех евреек, у кого будет установлена беременность, прямиком отправляли в концлагерь, а медицинская ассоциация одновременно признала, что для евреек аборт не является противозаконным. Тилли вынуждена была принести в жертву нашего нерожденного ребенка. Моя книга «Неуслышанный крик о смысле»⁶¹ посвящена ему.

В религиозной общине наш брак скрепили под хупой — навесом, символизирующим небо, и мы пошли, как требовалось, к фотографу (пешком, поскольку евреям успели запретить пользование такси). Тилли так и шла в белой фате новобрачной. Затем мы вернулись домой, заглянув по пути в книжный магазин, на витрине которого я заметил книгу «Мы хотим пожениться». Не без колебания вошли мы внутрь, Тилли все еще, разумеется, в фате, и мы оба — меченые желтыми звездами. Я доставил себе удовольствие, уговорив Тилли спросить эту книгу: я хотел, чтобы она «утвердилась», и вот она, украшенная белой фатой и с желтой еврейской звездой на груди, краснея, обратилась к продавцу, спросившему, что ей угодно: «Мы хотим пожениться».

Наше свадебное фото сослужило мне службу и после войны: по ее окончании я оказался первым гражданином Австрии, кому оккупационные власти разрешили выехать за границу для выступления с докладом на конгрессе. Конгресс состоялся в Цюрихе. Оставался открытым вопрос, пропустят ли меня через границу, да и швейцарских франков у меня все равно не было, так что хозяевам пришлось встречать меня на вокзале. Это была семья, у которой Густав, брат Тилли, жил в пору эмиграции. Из Инсбрука я телеграфировал в Цюрих и предупредил, что в качестве опознавательного знака воткну в

петлицу пальто значок ассоциации узников концлагеря — перевернутый красный треугольник.

В Цюрихе мне пришлось долго дожидаться, пока за мной кто-то явится. Никого не было видно. Вскоре платформа опустела. И вдруг из тумана вышла дама, неторопливо приблизилась ко мне, на каждом шагу сверяясь с фотографией, которую она держала в руке.

— Вы доктор Франкл? — спросила она. И тут я разглядел, что она взяла с собой свадебную фотографию, на которой были запечатлены мы с Тилли. Без нее она бы никогда меня не узнала.

На вокзале собралось множество людей с этими красными перевернутыми треугольниками в петлицах пальто — где уж тут разобраться, который из них доктор Франкл. В тот самый день проходила акция «Зимняя помощь», сбор средств, и каждый, кто бросал деньги в копилку сборщика, получал в подарок такой значок. К тому же *эти* значки были крупнее моего и сразу бросались в глаза.

Концлагерь

Итак, мы отпраздновали свадьбу. Девять месяцев спустя мы угодили в лагерь Терезиенштадт. Два года мы пробыли там, а затем, когда у Тилли еще сохранялась бронь — она работала на слюдяной фабрике, имевшей оборонное значение, — меня уже определили «на восток», в Освенцим. Поскольку я понимал, что Тилли — уж я-то ее знал — сделает все, лишь бы последовать за мной, я ясно и недвусмысленно запретил ей добровольно записываться на депортацию. Это было тем более опасно, что уход с фабрики могли истолковать как саботаж работы на военном предприятии. И тем не менее Тилли, втайне от меня, подала заявление на депортацию и, по неизвестным мне причинам, получила разрешение.

Во время транспортировки она была вполне верна себе. После краткой панической реакции, когда она зашептала мне: «Вот увидишь, нас повезут в Освенцим» — кстати, в тот момент едва ли кто мог об этом догадаться, — она вдруг взялась разбирать наваленный грудой в переполненном вагоне багаж и уговаривала всех помочь ей в этом занятии. Вскоре она совершенно успокоилась.

Последние часы, которые мы вместе провели в Освенциме, она сохраняла наружно бодрость. Непосредственно перед расставанием она мне шепнула: ей удалось раздавить часы (насколько припоминаю, речь шла о будильнике), чтобы этот трофей не достался эсэсовцам; эта ничтожная победа явно

доставила ей радость. Мужчин и женщин разделили, в последний момент я сказал ей настойчиво, простыми словами, чтобы она в точности меня поняла: «Тилли, выжить любой ценой. Ты слышишь? Любой ценой!»

Я думал о том, чтобы она, если возникнет ситуация, когда спасение ее жизни будет зависеть от согласия на сексуальные отношения, ни в коем случае не упустила этот шанс из-за меня. Я выдал заранее индульгенцию, опасаясь стать причиной ее несговорчивости, которая приведет к смерти.

Вскоре после освобождения в Тюркхайме (Бавария) я брел через поле и повстречал такого же освобожденного узника. Мы разговорились, во время беседы он вертел в пальцах какую-то вещицу.

— Что это? — спросил я.

Он раскрыл ладонь, и я увидел маленький золотой глобус с синей эмалью на месте океанов и надписью по золотой ленте экватора: «Мир движется любовью». Похожую подвеску, очень похожую, я подарил Тилли на первый ее день рождения, который мы отпраздновали вместе. Похожую — или это она и была? С большой вероятностью та самая, ведь когда я ее покупал, их всего две и продавали на всю Вену. А в Бад-Верисхофене, возле Тюркхайма, эсэсовцы обустроили склад для драгоценностей и украшений, которые в большом количестве доставляли из Освенцима. Я выкупил у случайного знакомого этот глобус — на нем осталась небольшая вмятина, но мир, как и прежде, был движим любовью...

И кратко, напоследок: в первое же утро, когда я вернулся в Вену, в августе 1945 года, я узнал, что Тилли умерла в Берген-Бельзене. Умерла она уже после того, как лагерь был освобожден английскими войсками. Они обнаружили в лагере 17 000 трупов, и в первые шесть недель после освобождения к ним прибавилось еще 17 000 — среди них оказалась и Тилли. Мне также сообщили, что цыгане по ночам варили на костре части трупов, в особенности предпочитая печень. Потом меня долго преследовала навязчивая картина: цыгане, поедающие печень Тилли...

Депортация

Вернемся к моменту депортации. Ситуация обострилась, я со дня на день ожидал приказа о депортации — вместе с родителями — и пока что сел и срочно написал первый вариант книги «Доктор и душа»: пусть уцелеет хотя бы эта квинтэссенция логотерапии.

И даже когда меня доставили в Освенцим, рукопись все еще оставалась при мне, зашитая под подкладку пальто. Разумеется, там она затерялась (один экземпляр первого варианта все же вынырнул спустя какое-то время после войны, однако к тому моменту я успел подготовить новый вариант, зато многие дополнения, которые я сделал в рукописи до перевода в Освенцим, так, разумеется, и канули). По прибытии в Освенцим я был вынужден бросить все — одежду и остававшееся у меня имущество, в том числе предмет особой гордости — значок альпинистского клуба «Донауланд», который подтверждал мою квалификацию скалолаза.

Об Освенциме я уже кое-что рассказал. Предварительное впечатление о «настоящем» концлагере (в отличие от «образцового гетто» — Терезиенштадта) я получил в так называемой «малой крепости» — концлагере на окраине основного лагеря Терезиенштадта. Проработав там несколько часов, я был с ног до головы покрыт тридцатью ранами — и большими, и совсем незначительными, и мой земляк Пюлхер, гангстер, о котором мне еще предстоит рассказать, поволок меня в барак. На улице Терезиенштадта меня увидела Тилли, подбежала:

— Бога ради, что с тобой сделали?

В бараке она, опытная медсестра, обработала и перевязала мои раны, и к вечеру я настолько оправился, что для утешения и развлечения она отвела меня в другой барак, на полуподпольное собрание, где известный джазмен из Праги, тоже заключенный, играл мелодию, которой предстояло сделаться неофициальным гимном концлагеря: «Для меня ты красива»⁶².

Контраст между пыткой, пережитой в первой половине дня, и вечером джаза был типичен для нашего существования со всеми его противоречиями — красота и уродство, человечность и бесчеловечность рядом.

Освенцим

Я никогда прежде не писал о том, что произошло во время первого нашего разделения на вокзале Освенцима. Была одна важная подробность, но до сих пор я не писал об этом именно потому, что и поныне я не вполне уверен, не плод ли это самовнушения.

Вот что произошло: доктор Менгеле ухватил меня за плечи и развернул не направо, к тем, кто оставался пока в живых, а налево, то есть в сторону обреченных на газовую камеру. Но поскольку среди тех, кого направили в ту сторону непосредственно передо мной, я не

заприметил никого знакомого и видел, как двоим молодым коллегам указали направо, я прошел за спиной доктора Менгеле и в итоге свернул направо. Одному Богу известно, откуда во мне взялась такая решимость.

И еще одну подробность я раньше не упоминал в публикациях на немецком языке. Вместо моего безупречного наряда мне выдали старый, заношенный и разодранный сюртук, очевидно, принадлежавший отправленному в газовую камеру. В кармане обнаружилась вырванная из молитвенника страница с главной еврейской молитвой — «Внемли, Израиль». В американском издании я написал об этом и закончил вопросом: мог ли я принять это «совпадение» иначе как указание *жить* в соответствии с тем, о чем я писал? С того момента страница из молитвенника всегда оставалась при мне, спрятанная, как прежде была спрятана пропавшая в тот момент рукопись. И я с удовольствием вспоминаю о том, как мне удалось спасти запись с кратким содержанием книги и по ней восстановить потом весь текст — а страница из молитвенника таинственным образом исчезла как раз в день моего освобождения.

Я упомянул земляка-гангстера. В Освенциме он сделался капо⁶³ — многие уголовники заняли такие должности. В лагере произошел следующий эпизод: я выходил последним в группе из ста человек, направленных на транспортировку. Вдруг мой гангстер бросается на какого-то заключенного, колотит его, пинками загоняет в нашу группу, а меня оттуда вытаскивает. Он осыпал несчастного бранью, прикидываясь, будто тот схитрил и втолкнул меня на свое место. Пока я сообразил, что происходит, сотня обреченных уже скрылась из виду. Этот бандит, мой спаситель, прослышал, что группа направляется то ли в газовую камеру, то ли в лагерь смерти. Я понимаю, что обязан жизнью, среди прочих, и ему.

Позднее, в лагере Кауферинг III, мне спас жизнь Беншер из Мюнхена (после войны он стал киноактером). Я отдал ему сигареты в обмен на пустой, зато пахнувший солониной суп. Пока я хлебал этот суп, Беншер читал мне мораль: требовал, чтобы я вышел из пессимистического настроения. И верно: такое настроение, как я не раз наблюдал у других заключенных, неизменно приводило к отречению от себя и — рано или поздно — к смерти.

В Тюркхайме я заболел сыпным тифом и чуть не умер. Все время думал о том, что моя книга так и не будет опубликована, а потом все же смирился с судьбой: *что же это за жизнь*, сказал я себе, если весь ее смысл сводится к вопросу, успел я из-

дать книгу или нет. Когда Авраам решился принести в жертву сына, единственное свое дитя, явился агнец. Я должен был внутренне решиться пожертвовать своим *духовным* дитятей, книгой «Доктор и душа», согласиться с тем, что ей не суждено увидеть свет, — только при таком условии я буду признан достойным.

Когда я оправился от тифа, ночью появились странные нарушения дыхания, выразившиеся в болевом синдроме. Я здорово испугался и ночью же отправился на поиски главного врача лагеря, моего коллеги из Венгрии доктора Раца (он также был заключенным и находился в другом бараке). Не забыть тот жуткий страх, с каким я в глухой тьме преодолевал расстояние между нашими бараками — каких-то сто метров. Покидать ночью барак категорически запрещалось. В любой момент часовой на вышке мог заметить движение и разрядить в меня автомат. Приходилось выбирать между двумя видами смерти: задохнуться или быть застреленным.

У меня никогда не было кошмаров о выпускных экзаменах, но концлагерь и поныне возвращается в моих снах. Видимо, концлагерь стал для меня подлинным экзаменом на аттестат зрелости. И ведь не было необходимости отправляться туда, я мог избежать всего этого, вовремя эмигрировав в Америку. В Америке я бы развивал логотерапию, завершил главный труд своей жизни, выполнил свою жизненную задачу, — но я этого не сделал. И угодил в Освенцим. То был критический эксперимент: чисто человеческая, древнейшая способность дистанцироваться от себя и выходить за пределы себя ⁶⁴, о которой я столько рассуждал в годы, предшествовавшие интернированию, в лагере была полностью верифицирована и подтверждена. Эмпирический опыт в самом широком смысле слова засвидетельствовал — воспользуюсь американским психологическим термином — *survival value* («ценность для выживания») «воли к смыслу», как я это называю, и даже трансцендентного переживания, выхода за пределы человеческого существования к тому, что уже не является им. При прочих равных выжить удавалось тем, кто ориентировался на будущее, на смысл, осуществление которого ожидалось впереди. Нардини и Лифтон⁶⁵ (первый — армейский американский психиатр, второй — из военно-воздушных сил) подтвердили это наблюдениями в японском и северокорейском лагерях военнопленных соответственно.

Что касается меня лично, я убежден, что выжил отчасти и благодаря твердому намерению восстановить утраченную рукопись. Я начал это делать во время болезни, стараясь не за-

снуть ночью (я опасался сосудистого коллапса). На сороклетие товарищ подарил мне огрызок карандаша и несколько эсэсовских формуляров; на их обороте я начал, в лихорадке, с высокой температурой, делать стенографические пометки, по которым я надеялся восстановить текст «Доктора и души».

Эти заметки действительно очень пригодились мне впоследствии, когда я осуществил задуманное и подготовил второй вариант своей первой книги, обогащенный примерами из пограничной ситуации Освенцима, которые вполне подтвердили мою теорию. Дополнительная глава о психологии концлагеря была подготовлена еще там, на месте.

Как это происходило, в особенности как происходило отстранение от себя, я сообщил Первому международному конгрессу по психотерапии в Лейдене (Голландия): «Я вновь и вновь пытался дистанцироваться от окружавшего меня со всех сторон страдания и с этой целью старался его объективировать. Помню, как однажды утром нас строем вели из лагеря и я уже не мог терпеть голод, холод, боль в распухших от голода и потом влезавших только в открытую обувь ступнях — они были отморожены и гноились. Ситуация казалась мне безнадежной и безутешной. И тут я представил, будто стою за кафедрой в просторном, красивом, теплом и светлом лекционном зале, собираюсь прочесть множеству заинтересованных слушателей доклад под названием „Психотерапевтический опыт в концлагере“ (именно под таким названием я и прочел доклад на конгрессе) и говорю в первую очередь о том, что довелось пережить мне лично. Поверьте, дамы и господа, в тот момент я едва ли мог надеяться, что мне в самом деле повезет однажды явиться перед вами с подобным докладом».

За три года сменилось четыре концлагеря — я побывал в Терезиенштадте, Освенциме, Кауферинге III и Тюркхайме. Я выжил, а о моей семье, за исключением одной лишь сестры, остается сказать словами Рильке: «Господь всем дал собственную смерть»⁶⁶. Отец умер в лагере Терезиенштадта у меня на руках, мать отправили в Освенцим, в газовую камеру, мой брат, как мне сообщили, погиб в филиале Освенцима на горных работах.

Некоторое время назад моя старая знакомая Эрна Фельмайер прислала мне стихотворение, которое я написал в 1946 году на обороте рецепта и оставил ей на память. Оно выражало мое настроение в ту пору:

Как тяжело гнетет меня, родные
покойники, — мой долг беспрекословный